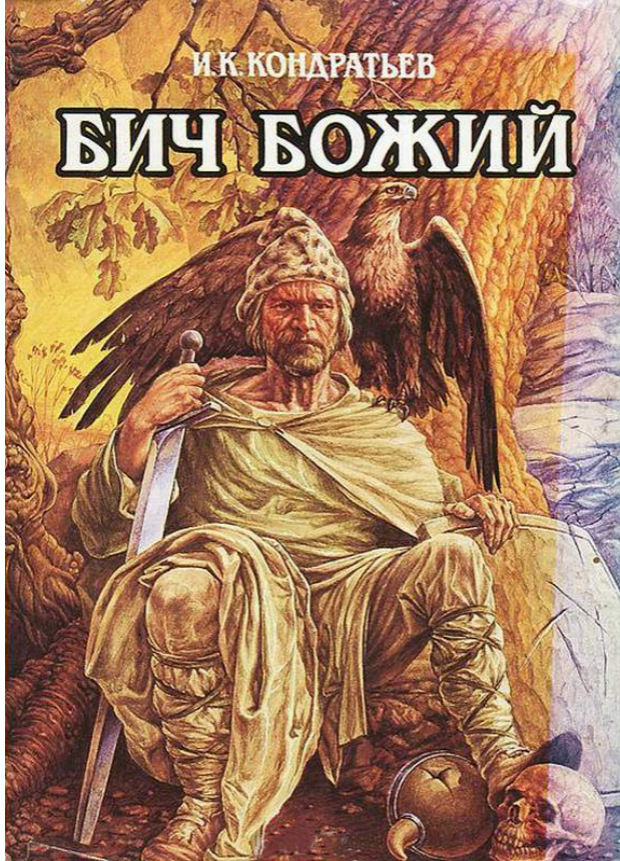


И. К. КОНДРАТЬЕВ

БИЧ БОЖИЙ



Бич Божий. Божье знаменье //Панорама, Москва, 1994

ISBN: 5-85220-374-2

FB2: Isais <isais2005@yandex.ru >, 2018-02-08 11:03:08, version 1.1

UUID: samlib5a7c043ddc6f32.12892293

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Кузьмич Кондратьев

Бич Божий

Исторический роман в трех частях из жизни древних славян.

Автор исходит из современной ему гипотезы, предложенной И. Ю. Венелиным в 1829 г. и впоследствии поддержанной Д. И. Иловайским, что гунны представляли собой славянское племя и, следовательно, «Бич Божий» Аттила, державший в страхе Восточную и Западную Римские империи, — «русский царь».

Содержание

#1	0006
Часть первая У БЕРЕГОВ НЕМАНА	0007
Глава I ПЛОТНИКИ-РАСПИНАТЕЛИ	0007
Глава II СОВЕТ СТАРЕЙШИН	0024
Глава III ПОГРЕБЕНИЕ КНЯЗЕЙ	0038
Глава IV ПРОБУЖДАЮЩАЯСЯ СИЛА	0053
Глава V КУКУШКА-ВЕЩУНЯ	0077
Глава VI ПИР И КЛЯТВА У КОСТРА	0097
Часть вторая ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ	0121
Глава I ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ	0121
Глава II СТОЛИЦА ГУННОВ	0150
Глава III ВЪЕЗД В КИЕВ	0169
Глава IV ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ	0180
Глава V НОВЫЕ ХОРОМЫ	0194
Глава VI СИЛА ЦАРЕЙ КЫЯНСКИХ	0204
Глава VII ДВА ОРЛА	0214
Часть третья СМЕРТЬ АТТИЛЫ	0225
Глава I ВИЗАНТИЙСКИЙ ЗАГОВОР	0225
Глава II ПОСОЛЬСТВО ФЕОДОСИЯ	0247
Глава III ОБЕДЫ АТТИЛЫ	0262
Глава IV ПЕРЕМЕНА ВИЗАНТИЙСКОГО ДВОРА	0283
Глава V ВОСТОК И ЗАПАД	0287
Глава VI ПОСЛЕДНИЙ ПИР	0313
Глава VII ПОХОРОНЫ АТТИЛЫ	0320

Заключение	0324
О ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА КОНДРАТЬЕВА	0332

Иван Кузьмич Кондратьев
Бич Божий

***Исторический роман в трех частях
из жизни древних славян***

Часть первая У БЕРЕГОВ НЕМАНА

Глава I ПЛОТНИКИ-РАСПИНАТЕЛИ

Наступила весна 375 года, весна теплая, благоухающая.

По римскому летосчислению шел месяц май, по славянскому — время, посвященное Дажьбогу, как покровителю произрастаний земли, и богине любви Лола[1].

Осенила весна и землю Венедскую, по которой извивалась широкая и светлая Немиза, река, носящая ныне название Немана.

В один из вешних дней, когда солнце светило особенно ярко и особенно шумно ликовала расцветающая природа, толпа плотников, веселая и говорливая, суетилась на берегу Немана: раздавался гулкий стук топоров, слышался лязг вбиваемых в дерево гвоздей.

Что делали плотники?

Плотники воздвигали целый ряд грубых, бревенчатых крестов.

Несколько готовых крестов, полукругом, в разных направлениях, уже поднимались по берегам Немана, и плотники, видимо, торопились с окончанием своей работы...

Но для кого же воздвигались кресты эти? Кто такой пострадает на них?

Хороши, живописны берега Немана и теперь, когда рука нового человека всему придает свой однообразный, невеселый цвет и подводит все под одну свою неизменную мерку; хороши, живописны берега Немана и теперь, когда почти по всему протяжению его раскиданы: то убогие рыбацьи хижины, то маленькие шляхетские фольварки, то старинные панские мызы и замки, то грандиозные костелы, свидетели многих безумных и кровавых дел. Но в конце IV столетия берега Немана, как вообще берега всех рек северо-славянской земли, представляли почти одну сплошную массу очаровательно-величественных дубовых, липовых, сосновых и кленовых лесов. Поднимая к облакам свои могучие лиственные вершины, только одним бурям покорялись они, укрывая под своими темными, без просветов, наметами тысячи птиц и

тысячи зверей. Груды пней, кряжей, мхов и разросшихся корней служили им безопасным обиталищем, а множество ручьев, трясин, болот, озер, заросших травой окошек и бочагов не пропускали человека в эти таинственные лесные пучины... Да человек и не шел туда: там ждала его верная гибель...

Но гибель в то время висела и над бедными обитателями того края, в их жилищах.

Краем владели грубые и жестокие готы.

По северным сказаниям, или сагам, готы, теснимые из Азии, под владычеством Сиггэ Фридульфсона, т. е. Одена, пришли первоначально в Квенландию, в страну квенов, стало быть, в восточную часть Финнии, жители которой и по настоящее время называются квенами. В то время вся нынешняя Финляндия носила название Квенланд. Оттуда готы начали распространяться до Карпат и Дуная. В придунайских племенах, отстаивавших свои границы от побед Рима, готы нашли и собственную ограду и даже поборников против общего врага — римлян. Но, пользуясь междоусобиями князей, римляне успели перешагнуть через Дунай и основать за ним свои про-

винции. Троян довершил победы на Дунае и покорил Дацию. Готы принуждены были искать новоселья для своей централизации. Для них не оставалось иного пути, кроме как на север, и вот готы окончательно водворились в Скандии, в стране ситонов. Из Скандии готы, усиливаясь все более и более, при императоре Валентиниане I и Валенте (364–375 гг.) овладели почти всей восточной Европой и делали набеги на Фракию. Одни из готов, известные под именем тервингов или вестготов, жили на севере от Нижнего Дуная под властью нескольких князей, между которыми особенным влиянием пользовался Атанарик. Другая отрасль этого народа носила имя гутунгов или остготов, и под властью своего короля Эрманарика, в соединении с несколькими подвластными народами другого происхождения, образовала большое государство, простиравшееся до берегов Дона. В состав этого государства, кроме других славянских племен, вошло и славянское племя вендов или вenedов, жившее на Балтийском побережье, на Висле, Северной Двине и Немане.

Своего короля Эрманарика готы сравнива-

ли с Александром Македонским; но остготский герой не проявил ни великодушия, ни мудрого правления великого героя, который умел быть милосердным с покоренными народами. Не тем прославился Эрманарик, наследник Геберика, в течение своего девятнадцатилетнего правления. Бесчеловечными казнями и муками прославился он.

Готский король надеялся этими средствами сдержать движение покоренных им народов.

Удалось ли ему это — доказали последствия.

Жестокости начали отзываться беспрепятственными и буйными восстаниями.

Первые восстали славяне, и особенно славяне-венеды, жившие на Балтийском побережье и по берегам Немана.

Они селились там с незапамятных времен, называя себя венедами.

Восстали венеды, — и вот на мирные берега Немана набежали целые полчища готов, и началась их обычная расправа. Все, что попало готам под руки, билось, резалось, истреблялось, топилось. Наконец в их руки по-

пались и главные зачинщики восстания, с их семьями.

Это были венецкие князья.

Для них-то вот и воздвигались кресты на берегу Немана.

Было уже за полдень, а работа все еще продолжалась: все еще стучали топоры, все еще звенели гвозди, все еще рылись глубокие ямы для вкапывания крестов.

Один из готов, по-видимому надсмотрщик за работами, долго сидел угрюмо на обрубке дуба, не обращая внимания на работающих, наконец поднял голову и закричал:

— Что ж, скоро ли?

В ответ ему послышалось несколько голосов:

— Вот только гвоздик один, и все!

— Погоди, не торопи, еще успеем распять этих собак. Много ли их тут?

— Много, не много, — говорил сосредоточенно надсмотрщик, — а к ночи не перевешаем всех.

— Перевешаем! — раздались голоса в толпе работающих, — еще столько, и то перевешали бы!

— Есть что вешать — сорок человек! — заговорил недовольным тоном один из плотников. — Из сорока человек и рук не стоит марасть. По-моему, уж если распинать, так распинать человек триста: по крайней мере — вид хороший!

Плотники захохотали. В честь оратора слышались одобрения:

— Ай да Острад! Вот настоящий распинатель, так настоящий!

— Да что, — продолжал Острад, — сорок человек? Эка невидаль! Да и каких еще сорок человек-то! Козьявки — не люди. Вот мы на Дунае распинали... тоже славян... Так вот это люди! Мы их там сотен пять в два дня распяли... Есть чем похвастать... Есть на что поглядеть... А то что!..

Острад махнул рукой, как будто давая этим знать, что о таких, в сущности, пустяках и говорить не стоит, да уж так — язык развязался, к слову пришлось.

И в самом деле, для плотников казни не составляли ужасающих зрелищ; они смотрели на них совершенно равнодушно и также равнодушно распинали несчастных. Это была их

обязанность.

При военных отрядах готов, особенно любивших казнь распятием, плотники составляли нечто вроде касты палачей и повсюду им сопутствовали. Обязанность эта у них переходила от отца к сыну, от сына к внуку и т. д. Словом, это составляло у готов особенный род занятий, которым никто не пренебрегал. Кроме известной платы за труд, плотники пользовались еще одеждой приговоренных к распятию, какова бы она ни была; а для того чтобы кто-нибудь другой не воспользовался доходом, один из плотников состоял в действующем отряде и наблюдал над забираемыми. Мрачность занятия вовсе не мешала плотникам быть людьми веселого нрава. Исполняя свои обязанности, они шутили, смеялись, как и в другое время, за кружкой вина или чашей меда. Но если что могло приводить их в уныние, так это отсутствие привычной работы. Этого, однако, не случалось: работа была постоянная. Стало быть, плотники-распинатели жили припеваючи...

С чем человек не сживается!..

Но над человеком всегда висит переменчи-

вая туча, и неведомо, над кем она разразится громом, кто попадет под ее губительные стрелы. Гром равно поражает: и могучий дуб, сотни лет красующийся над долиной, и молодую, только что вырастающую березку; равно поражает он и счастливого и несчастного человека...

Готы были счастливы, готы ликовали. В их руках была вся северная Европа. Все богатства стекались к ним, все несло им свои дары, свою дань. Столетний герой Эрманарик отдыхал в ожидании разложения Римского организма, разъедаемого арианизмом, чтобы Рим прибрать к своим рукам. Казалось, не было уже спасения от готов. Но в это, по-видимому, блестящее время над «ледяным» владычеством готов собиралась невидимая туча. Провидение нежданно-негаданно готовило ему грозу в недрах его же преобладания...

Но когда же и как разразилась гроза эта?..

Поставленные полукругом в два ряда четыре десятка крестов были уже совершенно готовы, когда к ним приблизилась безмолвная процессия. Процессия эта состояла из сотни вооруженных с ног до головы готских ви-

тязей и толпы венецов — вождей, приговоренных к распятию. Витязи ехали на конях, украшенных серебром и кистями; венецы шли, привязанные цепями к седлам. Впереди всех ехал готский князь. На нем быд золоченый шлем. На серебряном щите была изображена черная змея. Он остановился, за ним остановилась и безмолвная процессия. Окинув взглядом пленников, стоящих с непокрытыми головами, он обратился к надсмотрщику плотников:

— Все ли готово?

— Все: и кресты, и лестницы, и гвозди, — отвечал надсмотрщик, склонив голову в знак покорности.

Князь махнул рукой.

Плотники, с веревками, молотками и гвоздями в руках, стали у крестов. Витязи с пленниками подъехали к ним. Воцарилось молчание. Князь заговорил:

— Наш король, наш великий и бессмертный Эрманарик, вот уже девятнадцать лет повелевает готами! Наш король, наш великий и бессмертный Эрманарик, которому равного нет на земле, вот уже девятнадцать лет поко-

ряет племена и народы! Ни один замок не устоит перед ним, ни один город не оставит запертыми ворот своих! Готы видели Фермопилы, готы видели Пелопоннес, готы овладели Коринфом и Спартой, готы были в Афинах. Все перед готами падало и преклонялось! Горе же народам, которые сопротивляются могуществу их!

— Горе! — крикнула толпа витязей. И снова все смолкло.

Помолчав немного, князь продолжал:

— Где же они? Где эти безумцы, что против могущества готов?

— Мы! — сказали изнуренные пленники, как один человек, — мы, славяне!

В воздухе взвились плети витязей и веревки плотников-распинателей. Послышались отрывистые стоны и вздохи пленников: их бичевали. Бич подействовал. Пленники смолкли и снова стояли с понуренными головами.

Князь продолжал свою речь, но уже не тем спокойным и ровным голосом, каким он говорил прежде. Теперь голос его дрожал, в тоне слышалась исступленная досада. Он не ожи-

дал такой смелой выходки со стороны пленников, жизнь которых висела уже на волоске.

— Славяне? — говорил он. — Но что ж такое славяне? Псы смердящие, только и годные для того, чтобы готы травили их на других псов, таких же смердящих, как и они! Откуда взялись славяне? Где их родина? Они, как иудеи, раскиданы по всей земле и служат всем рабами. Где их нет? Они везде. Они на Дунае, они на Эльбе, они на Дону и Днепре, они здесь, на Немане и Висле!

— Наша земля везде! — крикнул один из пленников. — Вы в нашей земле живете. Не мы псы — вы собаки рудые!

Князь вышел из терпения.

Речи его не суждено было окончиться, в которой он, без сомнения, в сильных и величественных выражениях хотел напомнить о могуществе готов и о низком происхождении славян.

Окончание речи его вылилось в одно слово:

— Начинай!

Заскрипели лестницы, застучали молотки, слышались голоса плотников: «подавай»,

«тяни», «готово». Раздались бессильные крики и проклятия пленников...

Началась готская расправа...

В самый разгар работы мимо крестов пронеслось несколько бешеных коней. Кони эти будто из-под земли выскочили. Как птицы пронеслись они мимо места казни и скрылись в отдалении.

Но не одни пронеслись они: к хвостам их, ногами вперед, были привязаны обнаженные дочери и жены несчастных венецких пленников...

Казнь эта называлась у готов «мыканьем». Мыкали конями одних только женщин...

К вечеру все пленники были уже распяты.

Тогда началось метание в умиравших копий. Кто лучше метал, того награждали криками одобрения. Это была своего рода игра, требовавшая много ловкости и хорошего зрения. Метавший должен был попасть копьем непременно в назначенное место, и, кроме того, чтобы воткнувшееся в тело копье некоторое время держалось горизонтально, потом уже падало. Метнувший должен был ловить копье и не допускать, чтобы оно упало на

землю. Другие копыта должны были держаться в теле до тех пор, пока метавший, на лошади, на всем скаку, подпрыгнув в седле, не выдерживал его. Многие из готов были так ловки в этой игре, что, взяв в руки по копыту, они враз, моментально, метали их в распятого и попадали в оба глаза. В таком случае копыта должны были держаться древками врозь, углом, как бы вроде лучей.

Игра вообще была для них занимательная; готы до страсти любили ее, отдавались ей с азартом и только тогда кидали, когда уже явно видели вместо распятых тел одни ключья тела...

Так было и в настоящем случае.

Готы тогда только оставили распятых славянских князей, когда увидели, что метать уже не во что, и когда в их ушах перестали уже слышаться тяжелые, невыносимые стоны умирающих мучеников.

Оставили и ускакали на своих малорослых, но сильных конях, прокричав:

— Велик наш король Эрманарик! Смерть венедам и всем непокорным нашему великому королю!

За витязями оставили место казни и плотники-распинатели. Поделив добычу, утомленные, они уселись на несколько телег и тронулись в путь со всеми своими орудиями: цепями, веревками, молотами, топорами, гвоздями, лопатами. Ни слова сожаления о несчастных, ни одного прощального взора.

Один только Острад, видимо недовольный малочисленностью распятых, не удержался, чтобы не послать им своего недовольного слова:

— Эх вы, поросята! — пробурчал он, окинув взглядом все сорок крестов, уже начинавших окутываться вечерними сумерками. — Право, поросята!

Скоро на месте казни не было уже слышно человеческого голоса.

Тихо, незаметно, будто крадучись, надвигалась весенняя ночь на берега Немана.

Грозная береговая поляна, недавно столь шумная, столь кровавая, погрузилась в совершенный мир и совершенную безмятежность, точно никогда на ней и не происходило ничего постыдного, ничего возмутительного.

Все гуще и гуще надвигались сумерки, все

черней и черней становился окружавший поляну лес. Но вот с запада сквозь причудливые вершины дубняка проскользнул один-другой просвет месяца, пробежала легкая полутень его, и он сам, красно-бледный, показал свое полукольцо. Легкие облачка, до того невидимые, набежали на него, окрасились, передали румянец другим своим волокнистым сестрам и повисли над ним, словно заколдованные. А месяц между тем царственно поднимался все выше и выше, зарумянивая сквозные облачка и целые обхваты могучих вершин векового дубняка, рисуя из них самые странные, сказочные формы. Чудилось, будто неисчислимы полчища неведомых, кудреватых существ ринулись на исходящий откуда-то свет, но вдруг, пораженные им, остановились и замерли на месте, понутив свои богатырские головы...

Взглянул месяц и на прибрежную поляну.

Но зачем он взглянул на нее?

Пусть бы дело тьмы и оставалось во тьме...

Чужа добычу, ночные хищные птицы уже реяли над крестами. Одна из них, усевшись на плече распятого, спокойно выклевывала

уцелевший глаз. Другие искали лакомого кус-ка, кидая от распластанных крыльев своих длинные, еще не отчетливые тени; острыми углами скользили они по истоптанной траве и по крестам, то исчезая, то снова появляясь. А вокруг все тихо-тихо, как в могиле. Не слышно даже и берегового прибоя Немана. Молчал и Неман. И он, всегда говорливый, всегда беспокойный, казалось, не решался нарушить покоя навеки успокоившихся. А вон и еще показались тени. Это уже другие хищники. Старый волк тихо и осторожно высунулся откуда-то. Сверкнули два огонька. Постояли огоньки и двинулись вперед. Испытанный хищник не боялся опасности. За ним показались и другие... Будет пир, будет добыча...

Но вдруг огоньки моментально скрылись, быстрее задвигались тени пернатых хищников и что-то заскрипело...

Один из крестов качнулся...

— Пить! — тихо и протяжно простонал кто-то. — Пить!

Протяжный стон замер в воздухе...

И опять все тихо, и опять все безмолвно на береговой поляне Немана, недавно столь

шумной, недавно столь кровавой...

Глава II

СОВЕТ СТАРЕЙШИН

Эрманарик, король готский, поработил венедов.

Непривычные к войне, тихие, мирные, венеды сначала противоборствовали Эрманарику. Но многочисленная их толпа, нестройная, не привычная к войне, была ничтожна в битве против строевой силы готов.

Смирились венеды, засели в свои жилища и начали платить непосильную дань. Мало того: от них брали рабов, рабынь, мучили их, пахали на них, как на волах, землю, продавали их в неволю. Как тяжела была эта ледяная неволя, доказывается тем, что еще и по настоящее время можно слышать в Литве, где прежде селились славяно-венеды, следующую песню:

*Перун, боже,
Не мучь Жемайта,
Мучь гота,
Рудого пса.*

Бессилие ищет защиты в небесах, у Бога. Искали его и венедаы. Но языческий бог их молчал. Защиты ниоткуда не было. Стало быть, надо было искать защиты в себе, надо было найти человека, который бы взялся предводительствовать венедами.

Такой человек нашелся...

Это был Болемир, один из молодых и храбрых князей венедакских. Собрав толпу недовольных поработителями, он поднял восстание.

Покорив народ, готы прежде всего заботились об истреблении рода. Они, по обыкновению, распинали род их от мала до велика. Но не всегда удавалось им истребить всех и всякого. Князья оставались и жили до поры до времени где-нибудь в лесных тущобах или пещерах, укрываясь от готского преследования. Какой-нибудь бедняк из народа поддерживал существование укрывавшегося...

Таков был и Болемир венедакский...

Он сначала укрывался от преследования готов, и венедаы хранили его. Восстание Болемиру не удалось... Он и многие его помощники, из княжеского же рода, были захвачены и

распяты на береговой поляне Немана. А жен и дочерей их, привязанных к хвостам коней, размыкали по полю.

Скрываясь в лесах, венеда судили-рядили о своих делах в тайных сборищах, таких тайных, что, казалось, сама дებря не подозревала, для кого и для чего собираются ее обитатели.

Сборища эти были невелики и совершались преимущественно в глухих углах венедаких поселений, как, например, на берегах Немана. Совершались там, где жили на спокое старейшины венедакие, когда-либо имевшие значение и силу. Оттуда уже решение сборищ разносилось по всему Балтийскому побережью, по Висле до Эльбы.

В то время как на одном берегу Немана стучали топоры плотников-распинателей, на другом берегу, в чаще леса, тысячеголосое эхо, захлебываясь и перекатываясь, разносило какие-то невыразимо дикие звуки: не то свист, не то гогот.

Птица ли это клокотала? Зверь ли завывал? Разобрать было трудно.

И не в одном месте слышались они.

Звуки носились по всей чаще. То в одном, то в другом месте раздавались они. Там исчезали, здесь — появлялись. Не успевало одно эхо протянуть начатого звука, как уже другое прерывало его, начинало само гоготать, разносилось, раздроблялось, рассыпалось, перебегало с ветки на ветку и тонуло в новозарождающемся эхе.

Бывали минуты, когда, казалось, весь лес превращался в море звуков, которые носились по нему, как голоса невидимых духов. Но минутами они совершенно смолкали. Тогда тишина леса представлялась заколдованным миром. Страшно было в этой тишине.

Но что за звуки раздавались в лесу? Свистал ли кто? Кричал ли кто?

Свистал и кричал человек.

Нырря, как испуганный зверь, по мхам и по зарослям могучего бора то там то сям, он же разносил и эти невыразимо дикие звуки. Остановится, присядет, приложит ко рту длинную трубу — и завоет. Тут-то и начинало перекатываться тысячеголосое эхо.

Человек этот был венед.

В рысьей шапке, высокой, облоухой, сам

небольшой, коренастый, с круглым, густо обросшим волосами лицом, он много походил на зверя. Особенно, когда, дую в трубу, щеки его сильно вздувались, волосы как бы щетинились, а глаза наливались кровью.

Не напрасно завывал венед.

Вой этот был призывным, условным знаком для венедов.

Всякий из венедов, кто слышивал его, шел на одну из условных лесных полян, где происходили тайные совещания.

Ходить по хижинам, собирая на совещания, не было никакой возможности: хижины венедов были раскиданы по берегам Немана в таких чащах, в такой глуши, что только одни хозяева их и знали, как пробраться к ним и где их отыскать. У каждого были свои особые приметы, по которым он пролагал тропинки к жилищу своему. А звуки трубы всякий слышал и знал, что они значат.

В городах венедских и больших весях преобладали готы.

Венеды бежали из городов и весей, предпочитая глушь лесную готскому насилию. Готы не противились переселению. Это было со-

гласно с их политикой. Разрозненный народ, по их понятию, был не опасен. Рабов же, рабынь и дань им доставляли беспрекословно.

Между тем в лесах-то и скоплялась сила, которая могла ринуться дальше и могла противостоять готскому владычеству.

Когда венед вынырнул на условную поляну, там уже на пнях сидели несколько человек седоволосых венедов, которые вели между собой тихую беседу.

Венед-трубач снова нырнул в чащу леса и снова завыл. И долго еще то там то сям слышалось его завывание. Наконец завывание замерло где-то, застыло, и дробя успокоилась.

На поляне уже была целая толпа венедов. Собрались все больше седобородые старики. Молодых было мало.

На лицах собравшихся изображалось уныние и отчаяние. Всем было тяжело. Все знали, что на другом берегу Немана распинают их собратий. Все знали, что в это время многие из их собратий испускают дух свой.

Невыносимо то чувство, когда человек хочет, но не может помочь любимому существу. Чувство это часто превращается или в безна-

дежное отчаяние, или в зверское остервенение.

У собравшихся венедов было то и другое. На лице — отчаяние, на душе — пучина.

Все они тихо переговаривались между собой и чего-то ждали. Видимо, недоставало кого-то. Наконец этот «кто-то» появился.

Из леса вышел старик. Он шел не один. За руку его вел отрок.

Вышедший был Будли, старейший из князей венедских, когда-то знаменитый, храбрый. А теперь он жил в глухих дебрях Немана, на спокойе. Он, как и другие князья венедские, скрывался от готов. Но не сам он скрывался: его скрывали любимые слуги. Старику уже было поздно жалеть себя: ему было уже за девяносто лет. Но он, однако, был крепок и свеж. Бодрый, седой, князь уподоблялся дубу, опушившемуся свежим инеем. Годы согнули князя, как волны морские сгибают весла рыбака, но князь не сломился. Длинные белоснежные волосы падали на крепкие плечи его. Лоб был широк и открыт. Только глазами был плох князь венедский. Видно было, что он слеп, но чувствовалось, однако, что он ви-

дит. На князе была длинная белая рубаха, голова его была открыта. Князья уважали народ и потому стояли перед ним с открытой головой.

При появлении Будли толпа замолкла.

Тихо, беззвучно приблизился князь Будли к толпе. Отрок стоял подле него. Отрок этот был внук Будли. Он был коротенький, голова-стый мальчонка, лет десяти. Широкие плечи обещали в нем будущего силача, сверкающие глазенки обличали в нем ум и вместе с тем какую-то странную дерзость и решительную отвагу. Двигался он неуклюже. Смотрел все больше в землю.

Постояв немного, князь Будли заговорил:

— Все ли собрались наши?

— Все! — было ему ответом.

Будли поднял голову.

— Братья! — задрожал его голос над толпой. — Мы гибнем! Что нам делать?

Все молчали.

— Гибнем! Гибнем!

Старый князь закрыл лицо руками.

В толпе послышался чуть слышный говор:

— Гибнем, батя, гибнем! Кто нас поратует?

Стихли. Молчание царило над толпой.

Дряхлый князь, казалось, собирался с духом, чтобы сказать нечто решительное, нечто неожиданное...

А толпа все молчала, как один человек. Чудилось, что это не люди стояли, с душой и сердцем, не люди, которых угнетала одна мысль, одно горе, одна беда, а заколдованные дубы-подростки, принявшие человеческие образы.

Князь наконец открыл лицо и поднял свою обремененную сединами голову.

— Братья! — сказал он тихо, будто очнувшись от долгого забытья. — Братья! Послушайте старика!

— Слушаем, батя, слушаем! — прогудела толпа.

— Девять десятков лет, — продолжал князь ровным, окрепшим голосом, — пронеслось над моей головой. Скоро десятому конец будет. Видел я горе, видел радости. У меня было двадцать шесть сыновей, вдвое больше внуков. Все они росли, все они любили родину свою дорогую, и все они положили головы свои за нее. Положили потому, что мы скова-

ны по рукам и ногам. Знаменитое и вольное племя наше, племя венедов, потеряло свою волю, потеряло свои города, веси, земли, жен, дочерей, сыновей. Мы скрываемся в лесах, как звери дикие, чтобы готы не видели и не мучили нас. У нас берут тяжелую дань. Берут все, что мы имеем: и хлеб, и одежду, и питье. Берут у нас в неволю красавиц дочерей, сыновей-подростков. Все у нас берут. Что же нам делать? Куда нам деваться? Ужели мы должны погибнуть? Ужели племя наше должно исчезнуть навсегда?

Будди остановился.

Толпа поняла, что он требует ответа, и загудела:

— Нет, нет, батя, не должно исчезнуть племя наше! Но что же нам делать, батя? Много нас, но сил у нас нет. Нет предводителей. Готы проклятые всех переловили и перевешали. Ты только один у нас и остался. Помоги, батя! Что ты скажешь, то мы и сделаем! Помоги!

— Помога моя вот какая, братья, — заговорил, успокоившись, князь. — Мы должны покинуть свою родину и искать, подобно своим

предкам, новых поселений. Одна часть венедов пусть идет к Понтийскому морю, другая в Галлию, а третья на полночь, за море. Есть много свободных земель по Днепру, есть много их и в Галлии, есть много их и на полуночи. Пусть в Галлию ведет князь Радогост. На полуночь князь Олимер. К Понтийскому морю из вас кто-либо. Из князей у нас только и остались Радогост и Олимер.

— Да будет так, батя! — отвечали, как один человек, венеды. — Пусть гонцы разнесут эту весть по городам и весям венедским. Пусть народ готовится к выселению. Да будет так, батя! Слово твое — святое слово!

Дряхлый князь низко поклонился венедкам.

— Добро вам, братья честные, что еще верите старику хилому. А лучшего дела нам не выдумать.

Толпа заволновалась и заговорила между собой.

В это время внук надел на дряхлого князя шапку и осторожно повел его в лес по той же тропинке, по которой вывел его.

В князе, по-видимому, миновалась надоб-

ность. Его дело было только сказать, дело других — исполнить.

Когда князь с внуком своим отошел довольно далеко от поляны, молчавший все время внук вдруг обратился к деду:

— Дедушка, а дедушка!

— Что тебе, дитяtko?

— А мы с тобой, дедушка, выселяться будем?

— Куда нам с тобой выселяться, дитяtko? Я стар, ты млад — оба никуда не годимся. Поживем покуда и здесь. Я помру. Ты подрастешь, — вот тогда и делай, что знаешь, и иди, куда хочешь.

— Я, дедушка, тебя не покину. Только мне очень хочется побывать в чужих сторонах. Я бы побывал во всех тех городах, про которые ты рассказывал. Там, должно, совсем другие люди живут.

— Нет, дитяtko, все такие же люди, как и мы с тобой. Только в одном месте злые люди, в другом — добрые. А больше все злые. Хуже готов.

— Готы собаки, дедушка. Кабы моя воля была, я бы их всех перерезал.

— Трудно их перерезать, дитяtko: готы народ сильный.

— А уж сильнее готов и нет, дедушка, никого больше?

— Нет. Они многими землями владеют. Один только римский император и не покорствуеt перед ними. Да и тот боится их. Готы, дитяtko, страшный и сильный народ.

— Когда я вырасту, дедушка, плохо от меня будет готам.

— Ох, ты витязь мой, витязь! — засмеялся добродушно старик и погладил внука по голове.

Внук между тем насупился. Видимо, в его детской груди уже накипела затаенная злоба против ненавистного ему племени.

Долго внук и дед шли по лесной тропинке. Молчал внук; молчал и дед. Внук, как умел, поддерживал старика. Старик еле передвигал ноги и часто спотыкался. Наконец, перед ними показалось несколько хижин, уютившихся под сенью лип на глухой лесной луговине. Жилища эти скорее походили на берлоги зверей, чем на дома человеческие.

Едва внук и дед приблизились к ним, как

откуда-то, точно из-под земли, выбежала молодая девушка. Легкая, улыбающаяся, в белой длинной сорочке, перехваченной по стану тонким пояском, длинноволосая, голубоглазая, она подбежала к старику и обхватила шею его своими пухлыми, гибкими ручонками.

— Дедушка! Дедушка! — радовалась она, целуя старика то в лоб, то в щеки. — Что ты так долго не приходил? А я-то ждала, а я-то ждала...

— Вот и дождалась, вот я и пришел, — говорил ласково дедушка и тоже несколько раз поцеловал молодую резвушка в голову.

— А что же ты-то, братец, не привел пораньше дедушку? — обратилась она к юному провожатому, который стоял насупившись.

— Не тронь его, не тронь! Он у меня всех готов перебить хочет! — шутил старый князь.

— Ах, какой страшный! — вскрикнула девушка и засмеялась, откидывая обеими руками за плечи свои длинные русые: волосы, которые легкими прядями повисали над ее овальным раскрасневшимся личиком.

Внук из-под бровей поглядел на девушку и

еще больше надулся. Девушка засмеялась еще сильнее, глядя на рассердившегося брата.

Это были внук и внучка старого венецко-го князя Будли.

Внук — Аттила.

Внучка — Юрица.

Глава III

ПОГРЕБЕНИЕ КНЯЗЕЙ

Была уже совершенная ночь, и месяц, полный, явственный, плыл уже высоко по небу, когда несколько тяжелых и неуклюжих венецких лодок показались на водах Немана. Лодки венецкие двигались тихо, едва заметно. Пловцы, видимо, опасались чего-то и придерживались больше берегов, находившихся в тени, которая ложилась по ним от высокого берегового леса.

Плавать у этих берегов было не совсем безопасно: все пространство их было завалено отжившими свой век гигантами лесов — дубами, березами, кленами. Голые сучья их, черные, влажные, покрытые зеленым мхом, нередко высоко поднимались над водой. Плы-

вущий по реке сор — листья, сучья, ветки, плесень — сбивался у этих береговых преград, прирастал, присасывался к ним, покрывался новыми наплывами и составлял иногда самые крепкие, самые непроницаемые плотины, разрушить которые недоставало даже сил и у воды, несмотря на то что она бешено, как бы с озлоблением набегала на них, силясь их раздробить и разнести, вертелась, кружилась, пенилась и затем, встречая неодолимую твердыню, вынуждена была далеко обегать их. Кое-где гигантское дерево, дитя десятков лет, упав Бог весть когда и как, лежало поперек берегового затишья, занимая несколько саженей пространства. Крепкие и испытанные ветви его упирались в илистое дно и держали над водой корявый, почерневший ствол. Шумно и звонко перекачивалась вода через эту недвижимую грудку, чтобы через несколько саженей встретить, может быть, новую такую же грудку и снова же уступить ей. Местами деревья повисали над самой водой. И днем под этими навесами могучими царила сырая и подавляющая мгла, а ночью навесы эти казались какими-то заколдованными

обиталищами лесных демонов: так под ними было темно, так было холодно, жутко. Даже всплески волн не оживляли их. Как очарованные, стояли навесы эти над водой. Склонившись к ней, они сумрачно, как бы размышляя, гляделись в холодные струи ее, точно стараясь постигнуть сокровенные думы этих вечно движущихся и вечно шепчущих о чем-то волн. Во время бурь и непогод навесы эти, качаясь и торопливо шелестя, со скрипом и рокотом купались в самой воде и звонко роняли в воду захваченные ими в воде же крупные и светлые ее капли. Тогда мнилось, что они плакали о чем-то. Так года проходили за годами. Один навес, одряхлев, незаметно исчезал, другой так же незаметно зарождался, чтобы, в свою очередь, когда-нибудь уступить место новому поколению побегов. В течение многих лет ничто не заглядывало под эти навесы неприступные; разве старый ворон, возвращаясь с добычи, тяжело опускался иногда на толстый сук навесов и, каркнув раз-другой-третий, снова взмахивал своими грузными крылами и летел далее. Местами по этим берегам из самой воды поднимались целые

группы низкорослых ив. Ивы казались растущими на воде. Местами берега были покрыты сплошной массой высоких и густых тростников, низкого кустарника и сетчатого водоросля. Все это служило хорошим и неприступным обиталищем пернатой дичи, но для пловца представляло тяжелые преграды.

Преграды эти, однако, не пугали поздних пловцов. Они все-таки придерживались берегов и успешно огибали попадавшиеся на пути и густые тростники, и кустарники, и водоросли, и торчащие из воды сучья деревьев. Пловцам, без сомнения, места хорошо были известны.

Пловцы эти были венецы, отправлявшиеся на место недавней казни, чтобы убрать тела своих несчастных собратьев и совершить над их могилами достойную тризну.

В лодках сидело человек двадцать венецов. Венецы были в белых длинных холщовых, наподобие рубах, свитках, или паневах. Головы их, по обыкновению принеманских венецов, были покрыты рысьими шапками. В передней лодке, кроме венецов-мужчин, сидели еще две венецкие женщины и жрец. Жрец

был в синем длинном балахоне с металлическими пуговицами, в высокой конусообразной шапке на голове. Сидя, он покачивал головой и что-то многозначительно шептал. Он был стар, сед, но тучен. Одна из женщин, по видимому еще очень молодая, была вся покрыта длинной и широкой холстиной. Из-под холстины вырисовывались ее опущенная на грудь голова и сложенные на коленях руки. Другая женщина, старая, худая, с гадливыми чертами лица, сидела рядом с ней, как мумия. Голова ее была окутана цветной холстиной, наподобие чалмы. На груди, на длинном шнурке, висело несколько серебряных изображений: коня, вола, собаки, брони и оружия. Изображения были выкованы из круглых, вроде современных рублей, слитков серебра. Они считались священными и служили эмблемой богатств человека, которые необходимы ему даже и в загробной жизни. Женщина, носившая эти изображения, была не простая женщина. Таковую женщину называли Деванича, что значит: божество града ночи. Она, как и жрец, принимала участие во всех торжествах, касавшихся языческих обрядов, особен-

но роль ее была значительна при погребениях и тризнах. Для божества града ночи выбирали всегда женщину старую и по возможности отвратительную. Ее уважали, боялись, носили ей дары и бегали от нее. Деванича жила одиноко. Она очень хорошо знала, что ее ненавидят, и поэтому сама скрывалась от людей. Деванича всегда жила где-нибудь в трущобе. Посещали ее только те, у кого в доме оказывался покойник, или те, кого постигало какое-нибудь страшное горе. Деваничу считали вещей и думали, что она беседует с чистыми и нечистыми духами, а потому знает, от чего произошло известное несчастье. На Деваниче была длинная белая рубаха, подпоясанная широким поясом, на котором висел широкий короткий нож. Нож этот употреблялся для зарезывания, при погребениях, обреченной девы. Сидевшая рядом с Деваничей женщина, под холщовым покрывалом, и была обреченная дева.

Плавание венедов продолжалось при общем безмолвии. Только и слышно было легкое всплескивание воды, рассекаемой веслами.

Три лодки двигались одна за другой, гуськом. Взмахивая веслами, венецы, казалось, не торопились на место грозной казни. Взоры их были потуплены. Только один венец зорко смотрел на берега. Венецы опасались встретиться с готами, которые иногда, совершив казнь и зная, что придут убирать тела казненных, ради шутки прятались вблизи и потом перебивали пришедших. На этот раз венедам опасаться было нечего. Готы давно уже ускорились.

Вскоре венецы увидели издали поляну казни. Поляна ярко была освещена месяцем, и на ней явственно виднелись кресты. Лодки врезались в густые камыши и остановились. Один из венецов сошел в воду и, пробираясь камышами по топким кочкам и наростам, тихо вышел на берег и начал, приседая, прокрадываться на поляну. Поляна была тиха. Венец все оглядел вокруг. Готов не было. Были только их страшные следы. Тогда венец снова приблизился к берегу и пронзительно засвистал.

Через некоторое время от берега потянулись и остальные венецы.

Впереди всех шел жрец. За ним шла Дева-

нича. Вслед за ними человек пять венецов несли разные орудия погребения. После всех, в сопровождении двух венецов, шла обреченная дева.

Вскоре эта таинственная процессия, освещаемая яркой луной, двигаясь молча, как привидения, появилась на самой поляне и там остановилась в безмолвии. Безмолвие ее было торжественно и зловеще.

И здесь жрец был впереди.

Постояв немного, жрец вдруг начал размахивать руками и возопил:

— Смерть! Смерть! Человек снeдь всего!

Сказав это, жрец опустился на землю и приник головой к траве.

Он не вставал. Венеды в это время разделились. Одни начали снимать с крестов распятых, другие — складывали огромный костер и маленький сруб из тонких бревен, третьи — начали рыть могилу. Только Деванича и обреченная дева не принимали ни в чем никакого участия. Они стояли отдельно. Дева под своим покрывалом, Деванича со своими символическими изображениями на груди. Вскоре распятые были сняты, сруб был готов, и за-

жженный костер начал понемногу разгораться. Глубокая могила была тоже готова. Вокруг разгоравшегося костра начали собираться все венецы. Собравшись, они все безмолвно поцеловались, потом начали обрезать волосы свои и терзать свое лицо, чтоб оплакать погибших героев не слезами и воздыханиями, подобно женам, а кровью, как следует мужам. А один из мужей, терзая свое лицо, говорил в это время:

— Князья наши, великого народа господари, погибли от рук недостойного и проклятого племени готов. Но погибла ли вера наша? Погибли ли венецы, народ, на котором никто не ищет возмездия? Нет, не погибли! А потому мы и почтим достойно героев наших, павших от рук нечестивых, чтобы тем утешить тех, кому еще от рук готов погибнуть должно...

Венецы безмолвно слушали его, и, когда он окончил у костра свою речь, лежавший ниц на земле жрец встал и приблизился к костру. Венецы расступились. Жрец таинственно и тихо начал что-то шептать над огнем. Затем он отправился к срубу. Один из венецов подал

ему деревянные изображения богов. Жрец поставил их по сторонам сруба. Другие венеды в это время начали сносить погибших в сруб, где клали их на кучи сложенного хвороста. Все погибшие были внесены в сруб. Тогда к срубам приблизилась Деванича с обреченной девой. Дева осталась у сруба. Деванича вошла в него и начала покрывать покойников холстинами, заранее для того приготовленными. Потом она вышла и сняла с девы покрывало. Девушка была молодая, пригожая. На ней были золотые поручни и крупное янтарное ожерелье. Девушка эта, называвшаяся обреченной девой, сама вызвалась погибнуть в срубе вместе с одним дорогим ей покойником. Когда у славян умирал кто-нибудь, тогда спрашивали у его родных, близких и челядинцев: кто желает умереть с господином? По большей части вызывались на смерть девушки. Вызавшаяся на смерть девушка до дня погребения, сопровождаемая двумя подругами, всегда угощалась, пела и радовалась, что ей суждено погибнуть за дорогого господина. Такова была и эта несчастная венедская девушка. Она вызвалась погибнуть за своего лю-

бимца, князя Болемира, распятого вместе с другими на береговой поляне Немана. Она была княжна и готовилась быть невестой Болемира. Покидая ее, Болемир сказал: «Я иду искать свободы для моей родины; если я погибну, невеста моя, погибни и ты на моем трупе: ты мне всюду будешь дорога». Девушка, целуя полы кафтана отъезжающего жениха, обещала исполнить его волю и сдержала свое девичье слово. Она первая вызвалась погибнуть на трупе своего любимого князя.

Поставив около сруба изображение богов, жрец, глядя на сруб, начал выкрикивать одному ему известные заклинания.

После них три дюжих венеда начали перед срубом поднимать на руках обреченную девушку. Они поднимали ее три раза.

В это время девушка громко и отчетливо говорила:

— Вот вижу я моего отца и мать мою. Вот вижу я всех моих предков. Вот вижу я моего господина: он восседает в светлом, цветущем вертограде, зовет меня! Пустите меня к нему!

Перестав поднимать обреченную, венеда подвели ее к срубу. Она сняла поручни и оже-

релье и отдала их старухе Деваниче.

В это время некоторые из венецов взяли щиты и палицы. Один из щитоносцев налил чашу меду и подал девушке.

Девушка выпила и проговорила:

— Прощаюсь со всеми: с милыми и с дорогими!

Потом подали ей другую чашу.

Она выпила и запела протяжно что-то необыкновенно грустное.

Во время пения Деванича ввела девушку в сруб. Едва только они скрылись в срубе, как венецы сильно ударили в щиты. Это делалось для того, чтобы не особенно громко слышен был голос зарезаемой девушки. В срубе ее зарезала старуха.

Войдя в сруб, Деванича быстро схватила девушку за волосы, опрокинула голову ее назад и шарахнула по горлу ножом. Несчастная начала биться и кричать. Старуха нанесла ей другой удар. Кровь девичья хлынула на хвост, на трупы, а сама она упала на близлежащее тело. Вытерев ее рубахой окровавленный нож, старуха хотела уже выйти из сруба, как вдруг испуганно остановилась и приросла к

земле. Тело, на которое упала девушка, начало шевелиться под покрывалом и подниматься, и старуха услышала мужской голос: «Пить! пить!»

Быстро выбежала она из сруба и закричала:

— Жив кто-то! Пить просит!

Звук ударов в щиты смолк. Двое венецов с зажженными лучинами в руках кинулись в сруб.

Только что зарезанная девушка, истекая кровью, лежала без движения. Но возле нее лежало другое тело с открытыми глазами. Едва заметно двигал лежащий одной рукой, как бы силясь приподняться, и шевелил губами, на которых виднелась черная запекшаяся кровь.

Вбежавшие венецы узнали в ожившем своего князя Болемира.

— Болемир! Болемир! — закричали они.

В сруб вошли еще несколько венецов. Один из них внес в чаше воду. Осторожно омыл и омочил он водой губы князя и влил ему в рот несколько капель воды. Князь тихо вздохнул и шевельнулся всем телом.

— Жив, жив, — радостно шептали между собой венецы. Князя осторожно положили на полотно, вынесли из сруба и понесли к лодкам.

Пересмотрели и других распятых: нет ли живых. Но все остальные были так истерзаны, что на теле их не оставалось ни одного места без смертельных ран.

Прерванный обряд погребения начали продолжать.

Жрец взял пук лучины, зажег ее у костра, приблизился к срубу и, восклицая: «Мара! Мара!», зажег его.

Потом то же сделала Деванича.

За нею и все прочие подходили с огнем к срубу и бросали его туда.

Быстро загорелся сухой хворост, за ним вспыхнул сруб, а затем и все покрылось ярким пламенем: и сруб, и покойники, и зарезанная девица.

Целую ночь горел сруб, пуская во все стороны искры и густые столбы дыма.

К утру все превратилось в золу.

Венецы собрали эту золу, уложили ее в тридцать девять горшков и зарыли их в моги-

лу вместе с грудами мечей, остовами нескольких убитых тут же коней, собак, вместе с другими мелкими украшениями конской сбруи и княжеской нарядной одежды...

Через несколько дней на месте погребения князей венедских высился уже высокий свежий курган, и на нем тяжелый: круглый камень, окруженный тремя рядами низких, широких, каменных столбов...

Сурово смотрели эти серые, каменные глыбы на окружающую их цветущую поляну, на могучий бор, на берега Немана...

Журчал и плескался Неман по-прежнему, могучий бор по-прежнему смотрелся в его светлые, невозмутимые, как и прибрежные леса, воды, но печальна уже была цветущая поляна — она была обогрена кровью, была местом пыток, казни, была страдальческим кладбищем...

Глава IV

ПРОБУЖДАЮЩАЯСЯ СИЛА

Болемира принесли в хижину Будли. Князь находился в совершенном беспмятстве, когда его уложили на покойную и мягкую постель, которая состояла из мешка, набитого медвежьей шерстью и покрытого рысьим мехом. Достаточные венецы вообще устраивали подобного рода постели.

Юрица, Аттила и сам старый князь Будли начали ухаживать на больным. Больше всех хлопотала Юрица. Как только больного уложили в постель, она своими маленькими ручонками обмыла раны князя, sprysнула его лицо, грудь и ноги настоем из душистых трав, покрыла белой легкой холстиной и села у его изголовья, ожидая, когда больной князь очнется. Целую ночь просидела она над больным, не смыкая своих голубых очей. К утру больной начал бредить и шевелиться. Обрадованная Юрица чутко начала прислушиваться к словам больного, надеясь уловить в них его желание. Но о чем бредил больной

князь, разобрать было трудно. Юрица снова омыла его раны и снова sprыснула настоем из душистых трав. Такое немудреное лечение, по-видимому, освежило князя. Князь открыл глаза. Но они у него были такие бесцветные, такие безжизненные, что робкая девушка, заглянув в них, даже испугалась. Она не выдержала их полуоткрытого, мертвенного взгляда, отскочила от княжеской постели и, боязливо взглядывая по сторонам, прижалась к стене. Глаза князя не закрывались, и Юрице показалось, что они еще более расширяются и как будто хотят выскочить из-под густых княжеских бровей. Юрица окончательно испугалась и выбежала вон. Старый князь с внуком находились в отдельной клетке, куда они перебрались, чтобы не беспокоить больного Болемира. Девушка кинулась в клетку. Будли с внуком Аттилой еще спали. Юрица прежде всего начала будить брата, который, разметавшись, спал на полу клетки.

— Братец! — будила Аттилу Юрица. — Встань, голубчик, поднимись! Погляди, какие у хворого князя страшные очи.

Но братец спал крепко. Как ни толкала его

в бока и в грудь маленькая ручонка девушки, но Аттила не просыпался. Расталкивание, казалось, еще более убаюкивало его. С открытой грудью, с раскрасневшимися щеками он, видимо, услаждался каким-то чарующим сновидением.

На голос Юрицы проснулся старый князь.

— Кто тут? — спросил он спросонья.

— Я, дедушка.

— Что тебе?

— У хворого князя очи открылись.

— Ну что ж... Ладно...

— Ах, дедушка... Очи такие страшные... Я убежала...

Старый князь заворочался, закричал и начал подниматься.

— Что ты, внучка, что ты! Подь сюда.

Юрица подошла к дедушке. Старик поцеловал ее в голову и погладил.

— Побуди братца. Пойдем к хворому. Коли очи открыл, стало — оживет. Побуди.

— Да он не встает, дедушка. Я будила.

— Побуди. Встанет.

В это время начавший было что-то бредить Аттила вдруг вскрикнул, проснулся и быстро

привстал, пугливо оглядываясь по сторонам.

— Внучек! Аль ты пробудился? Поди скорей с Юрицей к хворому князю. Ожил.

Аттила, не торопясь, встал и накинул на себя свитку. Постояв немного, он потер себе рукой лоб, как бы припоминая что-то тяжелое, давящее, и, обратился с вопросом к Будли:

— Тут, дедушка, готов не было?

— Какие готы! Зачем сюда придут готы!

— Я видел, дедушка, готов. Они били меня, заковали в цепи и хотели распять на кресте.

— Тебе все это привиделось, внучек. Кровь-то молодая — сны в голову и лезут. Поди-ка вот к хворому князю. Юрица одна боится с ним быть.

— Ах, боюсь! Дедушка, и ты поди с нами.

Все трое, Будли, Юрица и Аттила, вошли в изобку, где лежал Болемир. Больной в это время не только лежал с открытыми глазами, но даже как-то странно приподнялся и старался привстать на постели. Увидав больного князя приподнявшимся, Юрица и Аттила остановились в изумлении. Слепой Будли не видел больного и, предполагая, что он все еще нахо-

дится в бессознательном состоянии, проговорил:

— Ох, кабы очнулся князь.

— Да князь встал, дедушка, — проговорили и Юрица и Аттила вместе.

— Встал... да... где мы?.. — простонал больной, очевидно находившийся в полусознании...

— У Будли, у Будли! — вскрикнул радостно старый князь. — У Будли!

— У Будли?.. — не то удивился, не то обрадовался больной, и лицо его, казалось, просияло. Бледные губы вздрогнули, в глазах промелькнул едва заметный блеск, на впалых щеках показался легкий румянец, который сейчас же исчез, заменившись изжелта-серо-ватой бледностью.

Видно, больному князю стоило немалых усилий приподняться и проговорить несколько слов, потому что он после этого как-то сразу упал на постель, закрыл глаза, тихо простонал и побледнел еще более.

Юрица, успевшая уже оправиться от своего испуга, первая подбежала к нему и начала поправлять его голову, которая при падении

склонилась на сторону. Брат ее окутывал холстиной ноги больного. Старик Будли стоял на одном месте, уставив свои безжизненные глаза на то место, где стояла постель.

— Что, внучата? Что с князем-то? — спрашивал он у них, чуя, что они над чем-то хлопчут.

— Ничего, дедушка, лег, — отвечала ему шепотом Юрица.

— Ох, кабы ожил князь, ладно было бы нам, — говорил Будли. — Ладно было бы. У нас только одного князя и недостает, чтобы идти на поиски новых мест. Только одного и недостает. Оживет он — оживет племя наше венецкое. Болемир храбрый князь.

— Оживет, дедушка, я знаю, — говорила Юрица. — Я буду день и ночь сидеть над ним, дедушка, и он оживет. Вот сегодня я целую ночь просидела над ним, и он поднялся. Оживет, родной, право, оживет.

— Ох, кабы ожил! — вздохнул старый князь.

Аттила все время молчал почему-то. Видимо, что-то бродило в его голове и созревало. Не по летам серьезный и суровый, он, заня-

тый своими мыслями, казалось, не обращал на все окружающее ни малейшего внимания. Юрица, несмотря на унылую обстановку изобки, где лежал больной, при взгляде на своего сурового братца едва удерживалась от смеха. Молодой резвушка, не знавшей ни жизни, ни людей, ни тех чудовищных тайн природы, которые даже в младенца кладут задаток мыслей и величия, казалась странной и смешной суровая задумчивость брата, который лет на восемь был моложе ее. Аттила на сестрины улыбки с достоинством отмалчивался и по-прежнему оставался невозмутимо-задумчивым.

К полудню в изобке Будли собралось несколько венецов. Обрадованные известием, что Болемир вставал и даже проговорил несколько слов, — что подавало надежду на его выздоровление, — они порешили, когда он оправится, поручить ему выселение венецов к Понтийскому морю, в степи Приднепровья.

Погоревав о погибших собратях, венецы разошлись.

В тот же самый день с берегов Немана во

все края венецкой земли, к Висле, к Балтийскому побережью, на полночь, вплоть до поселений Курон, поскакали тайные гонцы с известием о выселении: в Галлию, к Понтийскому морю и на полночь, за море. Гонцы должны были обскакать города, веси, вообще все поселения и места, где только ступала нога венеда-славянина, объявить имена предводителей: Радогоста, Олимера и Болемира и внушить народу необходимость выселения.

Выполнить это было не трудно, потому что угнетаемый готами народ давно уже ожидал чего-то и даже роптал на своих, оставшихся в живых, князей за то, что они для спасения его не принимают никаких мер. Всякая мера для народа была хороша и выполнима, а тем более — выселение. Перед глазами венецов были примеры выселений, которые избавляли народ от гнета победителей и неурожаев земли лучше всяких жертвоприношений и даже общих восстаний на своих врагов.

Вскоре все населения венецкие, малые и большие, города и веси знали о решении тайного сборища. Сельбища венецкие закипели, как муравейники. Начались сборы к выселе-

нию. Сначала сборы производились тайно, но потом мало-помалу они начали производиться слишком даже явно. Все делалось на глазах готов, которые сначала недоумевали, не понимая значения этого домашнего, вовсе не угрожающего им движения, но потом, когда они узнали причину его, начали принимать свои обычные меры к прекращению выселения. Но меры их ни к чему не привели. Это была не сила, стоявшая на поле битвы, где брало верх превосходство силы над силой и где одна из сил совершенно изнемогала или исчезала. Нет, это была другая сила: сила непрерывного наплыва.

Терпеливо и с любовью начала ухаживать Юрица за хворым князем. Она следила за каждым его движением, за каждым вздохом, предупреждая малейшие его бессознательные, как больного, желания. Болемир, однако, выздоравливал медленно. Только через две недели после того, как его принесли в хижину Будди, он пришел в сознание.

Это было рано утром, когда Юрица только что обмыла его лицо теплой водой и приложила к его ранам какие-то снадобья, достав-

ляемые ей старой Деваничей. Снадобье это заметно помогло князю.

Сидя у распахнутого окошечка, в которое назойливо врывался и свежий вешний, пропитанный запахами трав и деревьев ветерок, и голос иволги, усевшейся на соседней липе, и торжественный, как бы сдерживаемый кем-то шум могучего бора, — Юрица мурлыкала про себя песенку, ежеминутно оглядываясь на лежавшего без движения князя, который, казалось ей, спал еще.

Но князь уже не только не спал, но даже и очнулся от того болезненного забытья, которое томило его со дня ужасной казни: сознание начало понемногу работать в его голове.

Не открывая глаз и не шевелясь, прислушивался князь к любовной девичьей песне Юрицы и понемногу, сначала смутно, потом все яснее и яснее, стал понимать ее; голос песни показался ему знакомым: он слышал его где-то и когда-то, но это было давно, очень давно, как будто тогда еще, когда он был маленьким и бегал по хмурым лесам своей родины, отыскивая беличьи гнезда.

Князь начал припоминать: когда и где он

слышал подобную песню. Кто ему пел ее? И кто теперь поет?

Но в голове у него все путалось, мешалось, и он никак не мог припомнить, кто и когда напевал ему такую песню, да и кто теперь поет — тоже не знает; но как будто видит, откуда исходят эти успокаивающие его звуки...

Он видит еще поле: на поле тихо и глухо бегают тени — не то людей, не то каких-то длиннокрылых птиц, не то кресты передвигаются с места на место; кругом дремучий бор, густой, высокий, темный; а вблизи где-то как будто ручей журчит... Князю хочется отыскать этот таинственно журчащий ручеек, он силится шагнуть к нему, но ноги его вдруг повисли в воздухе, а кто-то сверху сильно, до боли, схватил его за руки... Князь хочет крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но язык его не ворочается; в это же время его что-то начинает качать в воздухе, все сильнее, сильнее и вдруг — его куда-то кинуло и больно придавило. И чувствует он, что начинает задыхаться, в глазах блещут огни, искры, цветные круги, а вокруг — все стучат, все стучат... Кто?.. где?.. он разобрать не может... Тут

уж он как будто подбежал к ручью, глотнул несколько капель холодной воды и успокоился; только в ушах его долго-долго гудело что-то, не то стон, не то плач с завываниями, не то шум отдаленной битвы. Потом стон этот, плач и гул начали постепенно смолкать, делаться все тише и приятнее и наконец превратились в тихую любовную песню, которую теперь поет кто-то; слова песни и напев знакомы ему, любви, глубоко западают в его душу, и он хочет, чтобы она, песня эта, не смолкала...

Но кто же поет ее?.. Где он теперь?..

Князь начал припоминать, где он, почему он лежит, но и этого не мог припомнить; в голове его было смутно, тяжело, ему казалось, что он только что вышел откуда-то, где его держали в темноте, но как долго — не знает. Время это как будто кануло куда-то, исчезло навсегда, и он снова начал оживать. Из этого темного времени у него в уме только и осталось одно слово: «начинай». Остальное все странно, смутно, непонятно...

Что же это такое?..

А песня все льется и льется, как будто ей и

конца нет.

Кто же это поет? Где?

Князь поднял отяжелевшие веки, и глаза его встретились с другими глазами; кротко и ясно смотрели они на него и словно о чем-то спрашивали. Крупные, ясные, с длинными ресницами, они, чудилось ему, обдавали его, как солнцем, своими лучистыми взглядами. Сначала князь видел одни только эти глаза, но потом он рассмотрел и русую маленькую головку. И хорошо ему было смотреть на эту русую маленькую головку и на эти крупные ясные очи...

— Кто ты? — спросил князь, впившись взорами в это стоящее перед ним прекрасное видение.

— Юрица, — слышалось ему в ответ, — внучка Будли, старого князя. Ты у нас.

Князь молчал.

Но он хорошо знал старого князя Будли, отпустившего его на бой с поработителями родины; он даже помнил ту минуту, когда старый князь, впиваясь в него своими безжизненными глазами, как бы хотел постигнуть его сокровенные мысли, измерить силу его

воли для предстоящей борьбы, и потом, тихо положив на его голову старческую свою руку, знаменательно проговорил: «Мы погибнем, но дети наши, славяне, создадут великое царство и будут великим народом. Прольем же для детей наших кровь свою, дабы они польстились нашим примером и не забыли нас!»

Слова старого князя глубоко запали в душу Болемира.

Поднимая восстание против готов, Болемир шел на верную смерть.

Мысли Болемира при этом воспоминании вдруг прояснились: ему стало понятно, почему он так долго находился в забытьи, чувствовал боль в руках, ногах, в груди и почему в голове его проходили такие странные, подавляющие душу мысли и виды.

Болемир знал готскую расправу: он был распят.

Но по какому же случаю он жив? Кто спас его? Неужели старый князь Будли? Или еще кто-то: та, которая сейчас говорила с ним, пела ему такую сладостную песню и склоняла над ним свою русую головку с большими яс-

ными очами?

Но князь не помнит ее... И жаль ему стало, что он прежде не знал этой русой головки, и почему-то досадно, что, глядя на нее, перед ним невольно восстал другой образ, менее прекрасный, но более близкий ему: князь вспомнил о своей невесте...

«Где же она теперь? — мелькало в голове князя. — Зачем она не подле меня?..»

А русая головка все стоит над ним, а ясные очи все глядят на него.

— Может, ты хочешь чего? Скажи — я принесу, — заговорила Юрица, которой сделалось жутко от пристального на нее взгляда хворого князя.

Князь как бы понял испуг девушки, закрыл глаза и тихо, с расстановкой, проговорил:

— Что же ты не поешь? Пой... Мне хорошо...

Невыразимо приятно сделалось Юрице от этой незначительной и почти бессознательной просьбы Болемира; она вся, неизвестно почему, вспыхнула, застыдилась и робко посмотрела на дверь.

У дверей никого не было, но ей показалось, будто кто-то подглядывает за ней. Сердце ее между тем билось, как пойманная птичка.

Радостная, смущенная, Юрица села подле князя и запела свою прежнюю песню, но не так тихо и бессознательно, как прежде; она запела ее, стараясь в глубине души своей нравиться князю.

Перестав петь, Юрица глядела на князя, как бы ожидая от него какого-то слова.

Князь молчал, даже не открыл глаз своих, но Юрица поняла князя: лицо князя выражало неизъяснимое удовольствие. Всегда, как у больного, изжелта-бледное, худое, страдальческое лицо его вдруг как будто просияло: легкий румянец покрыл его, края губ сложились в приятную улыбку, подбородок дрогнул...

Вскоре Болемир совсем оправился: он начал вставать и ходить.

Радостно встретил выздоровление его старый князь Будли.

В хижину Будли, на поклон к ожившему, приходили уже и другие венецы, и между ними часто велись долгие беседы, касавшиеся

выселения.

Болемир слушал всех, давал клятвы исполнить волю народную и только ждал, чтобы совсем оправиться и двинуть народ к Понтийскому морю, где в то время тоже преобладали готы, переселившиеся туда около 189 года по Р. Х.; но еще много оставалось незаселенных мест, по которым блуждали разные кочевые народы, выходцы из Азии и закавказских земель.

Было положено взять Киев, город на Днепре, и основать там столицу венедскую.

На советы стариков каждый раз пробирался и внук Будли, Аттила.

В то время, когда старики, усевшись в кружок, вели свою тихую беседу, передумывали, вспоминали, раскидывали умом-разумом, как делу лучше быть, — Аттила забирался в угол хижины и жадно прислушивался к речам стариков.

Старики по ходу разговоров часто вспоминали о притеснениях своих гонителей, готов, проклинали это, невесть откуда явившееся племя, которое не имело ни родины, ни доблестных вождей, вторгалось всюду неждан-

но-негаданно, все било, резало, рушило и утверждало свое владычество с помощью жестокостей.

И отрок Аттила видел, как старики, сами на себе испытавшие эти жестокости, содрогались при этом и в сотый раз давали клятвы: или погибнуть, или освободиться из-под гнета страшилищ. Отрок видел, как его дедушка поднимал при этом старческую, дрожащую руку, падал на колени и заклинал всех, заклинал своей родиной, детьми, женами, отцами, братьями, сестрами и всем дорогим для каждого исполнить данное ими обещание.

Старики клялись.

Слушая все это, у Аттилы, в его еще детском существе, тоже закипала вражда к неведомым пришельцам, и он тоже давал себе клятвы, когда подрастет, жестоко преследовать готов. К тому же часто упоминалось и имя его отца, Мундцука, который погиб в борьбе с готами, и имена его родных, погибших или на крестах, или в неволе у готского короля Эрманарика.

Говорили старики и о том, как их отцы вооруженной рукой вытеснили когда-то готов

из своей земли, и они должны были уйти от них на Днестр, где они снова усилились, воевали с римским императором, Каракаллою, Севером, покорили Дацию, Тавриду, переправились за море, возвратились оттуда и вдруг неожиданно-негаданно снова покорили их, венедов, утвердились между ними, и вот уже более ста лет короли их не знают предела своим жестокостям против венедов, которым мстят за одержанную ими когда-то победу.

Маленький Аттила задумывался и спрашивал себя:

«Отчего же венеды теперь не могут прогнать от себя готов?»

Когда же он оставался с дедом наедине, то и ему задавал этот вопрос.

Старый князь молчал и печально покачивал головой: старик тоже не мог разрешить ему такого мудреного вопроса.

Однажды Аттила, улучив минуту, спросил даже о том и у Болемира.

Странно посмотрел Болемир на внука Будли, долго сидел молча, потом взял его за руку и привлек к себе.

— Ты хочешь знать, дитя, отчего мы те-

перь слабы и не можем победить наших гонителей?

— Отчего, скажи?

— Оттого, — ласково говорил Болемир, — что у нас нет хороших предводителей.

— А ты?

— Я не хороший: я не умею побеждать. Я вот хотел было выгнать из нашей родины готов, да не смог. Они поймали меня, а вместе со мной и других князей и распяли нас. Я вот только один и остался жив.

— Так кто же их прогонит, скажи?

— Ах, дитя, дитя! Многое ты хочешь знать! Ты хочешь знать то, чего и мы, люди рослые, не знаем.

Аттила потупился и покраснел; досадно стало ему, отчего это никто ничего не знает.

Глядя на Аттилу, Болемир как будто понял невзгду, закипевшую в детском сердечке Аттилы, потрепал его по плечу и заговорил не тем уже тоном, которым он прежде говорил, как бы подделываясь под его детские понятия, а заговорил тем тоном сурового мужа, который вполне чувствует свои силы и рассчитывает на верную победу. Князь понял, что

перед ним стоит не отрок, а юноша, в голове которого бродят достойные мысли и достойные вопросы.

— Я побью готов, — говорил Болемир, — я выгоню их из нашей земли и пойду дальше. Я буду громить Рим, буду громить фракийцев! И Рим и фракийцы — враги ваши. Они всегда оттачивали на нас свое оружие и считают нас не людьми, а зверями дикими, которых и бить можно, как зверей диких. Не мы звери — они звери. Мы не бегаем за чужим добром, мы не грабим соседей наших, не берем их жен и дочерей в рабство. А они? Они все это делают и хвастают, что они первые люди в мире. Изнеженцы они, а не первые люди! Им золото нужно, рабы, безумные женщины, дети для растления и кровь человеческая на арене цирка. Они травят людей зверями и рукоплещут стонам человеческим! Безумцы! Забыли они, что всему бывает конец. Придет конец и их безумию. Я вразумлю их. Я напому им, что есть люди, есть целые народы, которые не золотом и не дворцами своими сильны, сильны волей, благоразумием и желанием мира. Зачем все они поработили нас? За-

чем они отняли богатство наше — земледелие и наши янтарные промыслы? У них ли своего золота мало? Нет, не мы звери — они звери! Я им напомним обо всем!

Увлеченный своими мыслями, Болемир забыл, кто перед ним стоит, а обращался к Аттиле, как к равному себе витязю, испытанному в боях.

— Да, я им напомним обо всем! Я всех за собой поведу! Как стая воронов поднимается над издыхающим в поле конем, так и мы поднимемся над издыхающими нашими врагами! Мы всех заключаем! Все наше будет! И готы, и Рим, и Византия, и земли малоазийские! Если мы этого не сделаем, то племя наше или совсем будет уничтожено, или мы будем у них вечными рабами. А кто из нас предпочтет достойную смерть низкой неволе!

— Никто! — утвердительно сказал Аттила, сверкая своими детскими выразительными глазенками.

Болемир измерил храбреца взглядом и хотел улыбнуться, но улыбка почему-то застыла на его губах. В этом детском «никто» Болемиру почудилось нечто знаменательное, даже

угрожающее; что-то как бы роковое и как бы грозное прозвучало в этом коротком слове, произнесенном стоящим перед ним невзрачным, некрасивым существом. Сколько в нем было твердости, сколько самоуверенности!

Болемир еще раз посмотрел на Аттилу внимательно. Аттила стоял уже с потупленным взором, запустив правую руку за пазуху; он как будто удерживал порывы своего сердца и думал о чем-то.

«Нет, я еще хвор, — промелькнуло в голове Болемира, — что мне такое почудилось! Мне почудилось, будто отрок сей станет страшилицем всего рода человеческого».

— Возьми меня с собой, князь, когда пойдешь к морю, — заговорил между тем Аттила, — я всюду за тобой ходить буду. Я не оставлю тебя.

— А на кого же ты деда покинешь? — спросил князь.

— А ни на кого. Дед и без меня проживет.

— А он незрячий.

— Юрица его водить будет.

При имени Юрицы в сердце Болемира колыхнулось что-то приятное и вместе с тем

жуткое.

«Где она теперь? — подумал князь. — Она в последнюю пору точно боится меня: все убегает, как увидит, и прячется».

— Что же, пойдём? — допытывался Аттила.

— Пойдём! Все пойдём! — крикнул вдруг, как бы озлившись на что-то и на кого-то, Болемир.

Крик этот, наверное, Аттила почел совершенно естественным, потому что стоял перед Болемиром, как и прежде, гордо, невозмутимо.

А на Болемира при мысли о Юрице нахлынуло целым потоком чувство страшного одиночества и горькой тоски. Цели родины, о которых он только что говорил, как будто отодвинулись куда-то на задний план и не имели для него никакого значения. Болемир видел одного только себя и чувствовал одно только свое одиночество, которому нужен был какой-либо исход, какое-либо забытие. Но какое, он еще не угадывал...

— И я пойду? — держался своей прежней мысли Аттила.

— Пойдешь и ты! — махнул рукой князь.

— Коли так, так я буду собираться, — сказал юный храбрец и оставил Болемира одного...

Глава V

КУКУШКА-ВЕЩУНЯ

З агрустила, запечалилась Юрица...
Отчего?

Всегда резвая, веселая, хохотунья на весь лес, она вдруг присмирела: нигде ее не видеть, нигде ее не слышно, точно заморозил кто Юрицу.

Смирная, робкая, девочка с раннего утра убегает в лес и сидит там где-то, как зверек какой-либо.

Что с ней?

Допрашивал дед, допрашивал братец, допрашивала старушонка, домоводка княжеская, — никому ничего не говорит Юрица, молчит да глядит на вопрошающих тоскливыми очами.

Подойдет старушка и разжалобится:

— Дитятко ты мое, дитятко! Горькое ты мое, сиротливое! И какая такая напасть на те-

бя!

Стоит Юрица перед старушонкой и точно вглядывается в ее морщинистое, маленькое лицо, стараясь разгадать, правду ли говорит она и для чего говорит?

А сама все молчит.

Тем временем старушка глядит-глядит на Юрицу да и расплечется, причитая что-то ни для Юрицы, ни для нее самой непонятное.

Постоит Юрица и уйдет, точно и не о ней речь шла: такая сделалась странная.

Подойдет братец:

— Юрица, ты чего? — спросит он угрюмо.

Прежде, бывало, Юрица, хохотунья и резвушка, сейчас рассмеется над братцем, а теперь как будто боится его: стоит, молчит...

Братец был неразговорчив и не любил тратить попусту слов; не отвечали на его вопрос, он и не спрашивал более.

Старый князь Будли тоже о грусти-тоске расспрашивал внучку.

Раз он спросил:

— Старушка говорит: хвора ты. Правда ли, дитяtko?

— Нет, дедушка, я ничего.

— То-то гляди, ничего... Да не верится мне что-то. Не вижу я тебя, а чувствуется мне — нехорошо тебе. Уж не испугалась ли чего? Мы тут собираемся, о войне толкуем, о переселении, кричим, галдим: может, боязно?

— Ах, нет, дедушка, не боязно.

— Да ты не пугайся. Мы тут останемся, мы никуда не пойдём. Куда нам! Да и не покинешь ты меня, внучка, старика хворого.

— Ах, не покину, дедушка!

— Вот братец пойдёт. Вот Болемир пойдёт. Болемиру идти надобно, он князь мудрый, храбрый. Он много венедам добра сделает, он спасет нас от готов... Ох, тяжко, тяжко, дитятко, жить под началом готов! Мне-то что! Мне ничего! Я человек старый, хворый, не сегодня-завтра помру, да другим-то, дитятко, как-то! На других, как на волах, готы землю пащут, детей их продают в неволю... Ох, нехорошо им, дитятко, нехорошо! А Болемир спасет их... Он поведет всех недовольных в далекие края, где много земли, много воды, много пастбищ. Там им лучше будет. Готы уже не будут повелевать ими так, как здесь повелевают. А мы с тобой тут останемся. Нам неза-

чем идти, дитяtko. Мы и тут век свой доживем. А ты не покинешь меня.

Сказав это, старый князь погладил молоденькую внучку по головке и поцеловал ее.

— Да, не покинешь, Юрица?

Вместо ответа Юрица вдруг зарыдала.

Припав маленькой своей головой на плечо старого князя, она рыдала глухо, неудержимо.

Изумился старый князь, отчего вдруг завывала девочка? Никогда с ней ничего такого не было.

Покуда Юрица рыдала, всхлипывая чисто по-детски, и прижималась к исхудалому лицу дедушки, — дедушка упорно молчал. Брови его надвинулись, лицо изображало душевное расстройство. Знать, неведомое ему горе девичье глубоко тронуло его.

Выждав, когда Юрица приутихла, выплавав первые порывы своей сердечной девической скорби, Будли кротко, ласково заговорил с ней:

— Дитяtko, аль неможется тебе?

Юрица не вдруг ответила, она не знала, что сказать дедушке. Немоци у нее не было, напротив, ей даже как будто было хорошо, ко-

гда она плакала у дедушкиной груди. Что-то смутное, жгуче-доброе, очнулось у нее в это время под сердцем и опять улеглось там, как спокойное, пригоженькое дитя укладывается в мягкой постельке, под покровом любящей его матери.

Юрица только и сказала:

— Ах, дедушка, дедушка!

Старый князь, казалось, в это время обдумывал что-то или догадывался о чем-то: странно двигались его безжизненные глаза, и бледное морщинистое лицо часто передергивалось едва заметной судорогой.

Помолчав немного, тихо, едва слышно, Будли спросил внучку:

— Юрица, дитяtko, скажи: люб тебе князь Болемир?

Юрица, ничего не отвечая, нервно вздрогнула и еще сильнее прижалась к плечу дедушки.

— Чего ж ты молчишь? Скажи, не бойся.

— А ты почему же знаешь, дедушка, что люб? — спрятав свое лицо, кротко спросила девушка.

— Как почему знаю?

— А почему? — будто уже заигрывала с дедушкой юная красавица.

— А потом же знаю, что знаю!

— Вот и неправда, дедушка! Мне Болемир вовсе не люб.

— Ох, ты белка-резвушка! — начал ласкать внучку успокоившийся вдруг старый князь. — Ну что же, коли люб, и ладно. Это хорошо. Пусть люб. На то ты и девонька, чтобы между храбрецов красавца себе поизволить. А я думал что другое. А коли только это — не беда.

— А может, и беда, дедушка.

— Какая же?

— А меня князь поизволит ли?

— Вишь, заговорила про что! Такую пригожую, да не поизволить?

— А нешто я пригожая, дедушка?

— Вестимо, пригожая.

— А ты нешто видишь, какая я?

— Теперь не вижу, а прежде видел.

— Э, дедушка! Я с той поры, как ты меня видел, совсем переменилась...

— Неужто?

— Рябая такая стала, морщинистая, боязно

смотреть, право...

И Юрица, быстро поцеловав раз-другой старика, рассмеялась звонко-звонко и неудержимо и убежала...

«Девке молодец желанен», — подумал старый князь.

А громкий смех Юрицын слышался уже на дворе, где-то за изобкой, который потом сменился веселой, несмолкаемой девичьей песней...

В тот же день старый князь Будли говорил с Болемиром.

Болемир совсем оправился, нашел в хижине Будли груды всякого оружия и выбирал себе по руке деревянный щит.

Деревянный щит, стрелы, секира, клевец, молот, двусторонний топор с короткой рукоятью — оружие, которое употреблялось венедами, и вообще славянами, на войне. Конница довольствовалась щитами и двусторонними топорами, которыми сражались с руки и от руки. Топор этот носили при бедре, как меч, рубили им и бросали в неприятеля. Молот тоже, кроме рукопашного удара, кидали во врага.

Клевец назывался еще чеканом (отсюда и слово — чеканить). Пехотинцы метали преимущественно в неприятеля стрелы, и ставились они в большинстве случаев впереди. Щит признавался чем-то священным; его украшали цветистыми красками, и бросить на поле битвы свой щит почиталось величайшим бесчестием, лишаящим права присутствовать при жертвоприношениях. Многие из переживших войну не переживали этого бесчестия и вешались.

Когда старый Будли вошел к Болемиру, Болемир любовался только что выбранным по руке тяжеловесным дубовым щитом, на котором довольно грубо была вырезана дубовая ветка и по вырезанному месту раскрашена ярко-зеленой краской.

Болемир взвешивал щит и примерял его к плечу.

— Вот этот будет по мне, — говорил он сам себе, — я с ним далеко уйду.

Примеряя щит, Болемир и не заметил, как вошел старый князь.

— Князь, ты тут? — окликнул его Будли. Болемир обернулся.

— Тут, батька, тут.

— А коли тут — ладно. Коль стоишь — садись и слушай, что я тебе скажу, князь.

— Я стою, батька. Нашел я по руке щит и люблюсь им. Добрый щит!

— А какой?

— Дубовый и с дубовой же веткой на нем.

— Знаю, знаю. Славный щит! Это щит сына моего, Мундцука, который погиб в битве с готами на Висле. Один воин, не желая обесчестить князя, сраженного вражьем топором, вырвал щит из рук убийцы и принес его ко мне. Что ты, не видишь на нем, князь, крови?

— Нет, крови не видно.

— А была. Весь цветок был обрызган кровью, вражьей ли, сыновней ли — не ведаю. Знать, время стерло ее.

— Я его возьму, батька.

— Возьми, возьми, князь. Да послужит он тебе залогом победы над врагами нашими. Да поднимут тебя воины твои на щит этот, как достойного его. Где он? Дай мне осязать его.

Старый князь ощупал щит и проговорил:

— Сыновний, сыновний щит. Узнаю его.

Старик сел, сел и Болемир, положив осто-

рожно на лавку облюбленный щит.

— Ну, теперь мы будем говорить о другом, — начал Будли.

— Говори, батька, слушаю тебя.

— Ты теперь не хвор, князь?

— Нет, не хвор.

— Это хорошо. Коль человек не хвор — хорошо. Хворый о хвором и думает, а здоровый о здоровом. А мы только и ждали, чтобы ты здоров стал.

— Здоров, батька, здоров.

— Все сделано, все начато. Вестники уже поскакали во все концы венеградской земли, чтобы возвестить о переселении. Народ уже забурлил: шумит, кричит, собирается. Мне обо всем известно. Пора, князь, подниматься и тебе.

— Я готов.

— А другие: Радогост и Олимер?

— Поднимусь я — поднимутся и они.

— Скорей бы, скорей бы, Болемир.

— Что ж, батька, я готов хоть завтра же идти к жертвенному костру.

— А завтра, так завтра. Чем скорей, тем лучше. Теперь скажу тебе, Болемир, о другом.

— О чем, батька?

— Болемир, гляди на меня прямо, — и старик поднял на Болемира свои безжизненные глаза. Казалось, что он и сам хотел заглянуть в душу Болемира.

Болемир несколько смутился. Странное чувство подсказало ему что-то такое, чего он давно уже ожидал.

— Глядишь? — спросил его старик.

— Гляжу, князь, — ответил Болемир и обманул старика.

Почудилось Болемиру, что безжизненные глаза Будли видят его насквозь, и он потупился. А Будли начал:

— И не след бы говорить о том, о чем я хочу говорить, не время теперь, да уж что делать — скажу. Может, и тебе от того не худо будет.

Болемир чутко слушал старика.

— Вот что, Болемир, ты храбр, велик, много хороших дел сделал и еще много их сделаешь, но все ж ты человек, как я, как и другой. А человеку по-человечьи и жить подобает. Люба тебе Юрица, князь, аль нет?

И радостно и неловко сделалось Болемиру

от такого простого вопроса старика. Стыдно ему было, ему, первейшему венецкому князю, стыдно было сознаться, что русоволосая Юрица люба ему, и крепко-таки люба. Но вместе с тем ему сделалось невыразимо хорошо. Он понял старика, и ему очень хотелось расцеловать его седины. Старик между тем попрежнему сидел перед ним, недвижимый, спокойный.

— Что ж ты молчишь? — спросил он, не получив от Болемира ответа. — Аль не люба? Коль не люба — дальше и говорить не стану. Ты не дите, князь, о чем говорю — разумеешь?

— Как не разумееть, батя! Разумею! — тихо проговорил Болемир.

— А коль понимаешь, то и отвечай толком. Не мудреного ответа требую. Речь идет о девке, а девка не гот: поперек горла не станет.

— Люба, князь...

— Вишь какой! Люба! А молчал! Чего ж ты молчал? Эх, князь, князь! Умен, храбр, готов в крови вражьей купаться, а зашла речь о девке любой — и оробел!

— Я ей люб ли, Юрице-то?..

— Ну вот! Заговорил о чем! «Я ей люб ли!» Вестимо, люб. Нетто можно не поважать такого храброго князя, как ты! Тебя всякая девка поважать будет — поважай только ты ее. А Юрица, князь, по тебе. И родом знатна, и собой пригожа — чего тебе больше!

— Спасибо тебе, князь, что вспомнил обо мне.

— О ком же нам, старикам, и помнить, как не о вас, молодых!

Встав, Будли продолжал:

— Ну, теперь как знаешь, так и делай, Болемир. Хоть сегодня же приготовляй свадебные подарки. Утром завтра попируем на твоей свадьбе, вечером у жертвенного костра, а по ночи, на заре, ты попируешь один, со своей княгиней молодой, Юрицей, в клети.

Обрадованный Болемир не знал, что и ответить старику на такие слова. А старик, потрепав его по плечу, проговорил на прощанье:

— Поди, рад? Хе, хе! Знаю, сам был такой же...

Уходя от Болемира, Будли прибавил серьезно:

— Ну, а все же, как знаешь, так и делай, мое дело — было бы сказано. Поважаешь Юрицу — ладно, нет — твоя воля.

Болемир поважал Юрицу, и крепко-таки поважал. Расставшись с Будли, Болемир быстро вышел из хижины и начал отыскивать Юрицу, чтобы поделиться с ней своей радостью и высказать все, что давно уже накипело в его душе.

Но Юрица ушла куда-то.

Поискав ее возле жилья, Болемир, уже не думая встретить ее, сам не зная для чего, побрел прямо в лес.

В лесу царило весеннее утро, самое сияющее, самое цветущее. Все в нем улыбалось, все ликовало. Дубы и клены, березы и ясени, убравшись в свежую, нежную зелень, походили на молодых пригожих невест, ожидающих поцелуя своего милого жениха. Так же, как и невесты, они робко наклонялись, робко перешептывались со своими стыдливими соседками и потом снова поднимали свои красивые, прихотливо разубранные природой головы, чтобы с вышины насладиться синевой безоблачного неба и яркостью вешнего солн-

ца, которое, переливаясь на них тысячами изумрудных капель, не хотело, казалось, покидать их...

Не покидал чащи лесной и Болемир.

В тот день что-то рано поднялась Юрица со своей девичьей постели...

Не спалось ей почему-то в прошлую ночь: и душно-то было, и как будто ей прямо в ухо шептал кто-то о чем-то и будто говорили где-то. А сверху, в воздухе, казалось ей, звенели чьи-то, неведомые ей, голоса, и так хорошо, и так тихо звенели, что она, сев в одной сорочке на постели и вперив в глубину широко открытые глаза, долго с наслаждением слушала и ловила их. А чуть только занялась заря, она уже незаметно скользнула из хижины и, сама не зная куда идти, побежала к лесу.

Лес сразу охватил ее своей чарующей прохладой. Трава еще не обсохла, и с листьев падала светлая холодная роса. Раздвигая кусты и подвигаясь куда-то вперед, Юрица и не замечала, как роса обдавала ее своими жемчужными, блестящими каплями. Ей почему-то хотелось идти все вперед и вперед, и она шла, всей грудью вдыхая пахучий лесной воздух.

Зачем и куда шла Юрица — она сама не знала, не ведала, только ей хотелось идти и идти, идти куда-нибудь подальше, где тихо и где никто не ходит... Странная дума томила ее: то вдруг ей хотелось смеяться, то вдруг плакать, то вдруг обнять дедушку и его, обоих вместе. А за что же его-то? За что? — мелькало в ее голове, ведь он чужой. И образ этого чужого, молодой, пригожий, моментально являлся перед ней и ласково, из-под бровей глядя на нее, как будто шептал ей какие-то непонятные для нее слова. И чудилось, что слова эти так в душу и просились, так и вливались туда легкозвучной волной, и смеялись-то, и радовались-то чему-то, и как будто оттуда, из-за души, нескромно заглядывали в ее девичьи очи. Идучи, она не раз даже оглядывалась: ей казалось, что он-то именно и идет следом за ней и так нескромно заглядывает ей в очи. Оглянется, постоит, поправит скатывающиеся на глаза волосы, прислушается — и нет никого кругом, все лес, один лес, и так тихо кругом, что слышно даже, как звенит где-то пчела, шмель гудит, а где-то далеко-далеко иволга свищет и дятел дупло долбит...

— Вишь, злой какой! — проговорит Юрица и идет дальше.

А чем дальше, тем лес гуще и непрогляднее. Вот уж и кустов нет, только и мелькают перед глазами одни стволы дубовые, толстые, кряковистые. А внизу — мох, зеленый-презеленый, так и хочется прилечь на него и поваляться на свободе. А солнце все больше и больше заглядывает в лес. Сначала все кругом было сумрачно, серовато, а теперь вон уже краешек белобокой березы так и блещет на солнце, а верхушка вон того кудреватого клена точно надвинула на себя ярко-золотистую шапку...

— Как тут хорошо! — подумала Юрица и, сама не зная почему, остановилась и поглядела вверх.

— Ух, высоко-то как! — невольно воскликнула она. — Я тут ни разу не бывала. Ау! — вдруг крикнула она звонко и сама испугалась своего голоса, так он был громок и так он оглушил ее.

— Ау! — ответило ей эхо по направлению к поляне, где находилось жилье.

Юрице понравился этот глухой, не челове-

ческий ответ, и она еще несколько раз крикнула «ау». Эхо столько же раз ответило ей своим «ау».

После этого Юрице показалось, что в лесу сделалось еще глуше.

Шла-шла Юрица и снова остановилась.

— Ах, я шалунья! Куда ж я иду? — упрекнула и спросила она самое себя.

В это время, как раз над ее головой, сначала крякнула, а потом закуковала кукушка. Юрица вздрогнула.

— Вещунья! Зачем ты испугала меня? — крикнула Юрица, подняв голову по направлению откуда слышалось «ку-ку».

Но уж кукушка перенеслась на другое дерево, дальше. Крикнула один раз и смолкла.

— Вот хорошо, спрошу у вещуньи, сколько мне лет на свете жить.

И Юрица, приложив обе руки ко рту, громко спросила:

— Кукушка! Кукушка! Сколько мне лет на свете жить?

Кукушка перелетела еще дальше, прокуковала один раз, да так жалобно, так тихо, и смолкла.

— Одно лето! Ах, ты, вещунья! Ты неправду сказала! Я еще много, много лет проживу! Вот увидишь.

Хотя Юрица и проговорила так, однако ей от кукушкиной вести стало не легче. Сначала она вовсе не боялась лесной чащи, а тут вдруг ей сделалось в лесу жутко. Почудилось даже, будто ходит кто-то, стонет, охает, а из-за кустов очи чьи-то глядят. И Юрица, не оглядываясь, пустилась бежать, думая про себя:

«Ах, проклятая птица! Ах, проклятая! Одно лето!»

— Юрица! — вдруг остановил ее чей-то голос, когда она готова уже была выбежать на поляну, где было жильё.

Юрица оглянулась и остановилась. Перед ней стоял Болемир.

— Куда ты бежишь, Юрица? — продолжал он, любовно глядя на нее. — Не от меня ли?

В голове девушки все помутилось. Она забыла лес, забыла кукушку-вещунью, все забыла. Она видела перед собой одного только князя. А князь подошел к ней и тихо взял ее за руку. Рука Юрицы дрогнула в руке Болемира.

— Юрица, пойдём туда, дальше в лес, — говорил князь. Юрица не отвечала, глядела в землю и пошла рядом с Болемиром, который не выпускал руки ее.

— Я искал тебя, — говорил Болемир, идучи рядом с Юрицей. — Где ты была?

— Я была в бору, — решила ответить девушка.

— И теперь пойдём в бор, в бору хорошо. Пойдём? — заглянул он в ее лицо.

Юрица вспыхнула, однако, помолчав, чуть слышно проговорила:

— Пойдём, князь, коли ты велишь...

Глава VI

ПИР И КЛЯТВА У КОСТРА

Князь и Юрица долго оставались в бору.. Только к вечеру воротились они домой... Князь был безмерно весел, Юрица задумчива, не говорила, все больше глядела в землю и пряталась... Будли между тем приказал приготовить свадебные подарки для невесты, приготовить медов и хлебов для пира и очистить для молодых лучшую клеть.

У венедов существовал обычай, что не жена несла мужу подарки, а, наоборот, муж нес их жене.

Подарки мужнины жене заключались в следующем: муж дарил жене вола, снаряженного коня, щит, секиру и меч.

Все это дарилось для того, чтобы жена не считала себя чуждой мужества и не была безучастной к войне. Подарки эти предупреждали ее, что она становится подругой, соразделяющей труды и опасности, счастье и несчастье как во время мира, так и во время войны. Это значение имели для нее и заярмован-

ные волю, и оседланный конь, и оружие как при жизни, так и по смерти. Принимая эти дары, она должна была передать их ненарушимо и достойно детям, от которых примут невестки и, в свою очередь, передадут внукам.

Молодая, если хотела, только и дарила мужа каким-нибудь оружием.

В этом заключался союз супругов, священный обряд и воля богов, покровителей супружества.

В этот же день от Будли оповещено было по всем венецким весям Немана, что назначен свадебный пир в жилье старого князя и что виновники этого пира — Юрица и Болемир. Оповещено было также и о том, что настал день, когда венецы должны дать у жертвенного костра обет: жить и умереть за свою родину, которая гибнет от рук пришельцев-готов.

Весь вечер и вся ночь прошли в приготовлениях к свадебному пиру и к жертвоприношению по случаю обета. Уже с вечера венецы начали собираться в хижину Будли. Все поздравляли и старого князя, и Болемира, и

Юрицу. Юрица все это время была покрыта густым белым покрывалом и пряла пряжу. На приветствия и поздравления, как невесты, она должна была отвечать низкими поклонами, молча, медленно. Поклонившись, она снова садилась за пряжу. Болемир во все это время должен был запрячь в ярмо вола, снарядить коня и вычистить оружие, которое предназначалось для княгини. Совершалось это медленно, спокойно. Вол должен был быть цвета черного с белыми пятнами — эмблема зла и добра, которые живут среди человечества. Конь — вороной.

Сбруя, по возможности, делалась пышная, яркая.

Молодые в ночь перед свадьбой не должны были спать. Это делалось для того, чтобы первая ночь молодых вместе была крепка и спокойна. Неспкойная ночь считалась нехорошим признаком. А чтобы развлекать молодых, к жениху являлись молодые витязи, к невесте — молодые девушки. Витязи обязаны были развлекать молодого воинскими рассказами, а девушки невесту — песнями. Так и было: к Болемиру пришло несколько моло-

дых венедов, к Юрице — девушек.

До самого утра они развлекали молодых. До самого утра слышны были рассказы о героических подвигах витязей и девичьи песни о том, как будет хорошо молодой княжне за своим молодым князем, как они долго будут жить, радоваться, разрабатывать вместе землю и ходить вместе на войну, как пойдут потом у них дети — сынки-богатыри, дочки-красавицы, что ни сын, то солнце красное, что ни дочь, то звездочка ясная...

*Ах, княжна, пригожая, ясная,
Поважай меня, молодца добро-
го, —*

пели девушки молчаливой Юрице.

«Добрый, ласковый мой князь, поважай меня, княжну-девицу сиротливую: нету у меня ни отца, ни матери, есть только род да племя!» — рассказывали Болемиру витязи удалые...

Слушал Болемир витязей, слушала Юрица девушек, и так слушали до ясного утра.

А только что настало утро — у Будли уже не было и места для гостей: так их много со-

бралось.

Попить, поиграть венеды были не прочь, да, кроме того, и дело важное решалось. Обет на защиту родины считался одним из священнейших обетов. На обетах обязан был присутствовать всякий, кто только чувствовал силу ходить, не исключая даже и женщин, девиц, детей, стариков. Поэтому все, кто мог, считали своей обязанностью присутствовать на обетах. Как одно из необходимых лиц явился и жрец.

И вот — только что рассвело — вся поляна, на которой находилось жильё Будли, покрылась дубовыми столами, скамейками, короткими и длинными, обрубками широких стволов дуба и ясеней, служивших вместо столов. Все это задернулось скатертями, столешниками, всем, что только нашлось у Будли холстинного или парчового.

Не богат был старый князь Будли, да и не такое время шло, чтобы думать о богатстве да роскоши, да и какая роскошь могла быть в лесу, среди природы, среди зверей, где все скрывалось, все пряталось! На что она? Можно прожить и без роскошества, особенно когда

родина стонет под игом иноплеменника. И Будли не роскошничал, несмотря на то что по одному его слову к нему были бы нанесены верными венедами целые груды всякого рода домашнего скарба. В свое время, однако, в молодости, когда князь был в силе и не скрывался, как зверь лесной в трущобе, у него было немало всякого добра. Готы ограбили его. Но все же у него кое-что еще осталось, спасенное и припрятанное верными слугами.

И все это оставшееся старый князь приказал вынести и выкатить. И все было вынесено и выкачено.

У князя оказалось немало старых медов, немало старых браг и квасов. А до этих напитков венеда были немалые охотники.

И начался у Будли пир горой.

Пиршество открыл сам Будли.

Когда все уселись за столы, Будли, во все время не появлявшийся среди гостей, тихо и торжественно вышел из избы, ведя правой рукой жениха, левой — невесту.

Юрица была одета в длинную белую рубашу, которая почти что волочилась по земле, без рукавов, почему руки ее до самых плеч

были голы. Рубаха по стану была перехвачена широчайшим поясом из греческой парчи. Волосы на голове были собраны в клубок, который обхватывался куском тонкой и узкой холстины зеленого цвета. В ушах висели необыкновенной величины янтарные серьги, грубо отделанные в золото. На голых ногах — подобие сандалий, привязанных к пятке и икрам, до колен, двумя крестообразно вившимися ремнями. Лицо ее было покрыто легкой холстиной.

Болемир был одет в шерстяной кафтан из белой шерсти, изузоренный по краям красной тесьмой, с золотой запоной у шеи. Рукава у кафтана были необыкновенно широки. На голове, несмотря на внешнее прекрасное теплое утро, надвинута была высокая облоухая рысья шапка. Кафтан по стану был перехвачен куском серебристой, с зеленью, греческой материи. На ногах грубое подобие сапог из выделанной кожи.

Старый князь Будли был просто в белой рубахе.

Когда он вышел, двое венедов разложили на земле медвежью шкуру, шерстью вверх.

Будли вошел на эту шкуру в сопровождении Болемира и Юрицы и остановился.

Гости молчали. Речь была за старым князем, и князь тихо заговорил:

— Братья-венеды, простите меня, старика! И не след бы в такую тяжелую пору задумывать свадьбу, а я вот, старый слепой ворон, задумал. Простите меня, старика!

Будли поклонился гостям. Поклонились гостям и Болемир с Юрицей.

Старейший из гостей ответил:

— Ах, князь, князь! Слово твое — великое слово, и не нам, людишкам мелким, судить о делах твоих. Твое дело — повелеть, наше дело — сделать.

— Твое дело — повелеть, наше дело — сделать! — проговорили в один голос все гости и отвесили поклон Будли и молодым.

— А коли так, — сказал Будли, — то и добро вам! Добро и вам, и мне, и славной нашей родине!

— Добро! Добро! — загудели гости и снова отвесили и Будли и молодым низкий поклон.

После этого Будли, с Болемиром и Юрицей, сошел с медвежьей шкуры и подошел к столу.

На столе стоял целый зажаренный кабан. Он отрезал от него часть, подал Болемиру и сам съел. Это делалось для того, чтобы жених был хороший охотник и не боялся диких зверей. Потом Будли подошел к целому зажаренному ягненку, отрезал часть его, подал его Юрице и сам съел. Это делалось для того, чтобы молодая была хорошей домоводкой.

Во все это время стоявшие гости хранили глубокое молчание.

Далее Будли налил большую чару меда и подал Болемиру. Болемир хлебнул меда и передал его Юрице. Юрица смочила губы и передала дедушке. Сам Будли тоже откусал. Это делалось для того, чтобы жизнь молодых была сладка и хмельна, как мед.

Окончив этот обычный обряд, Будли обратился к гостям:

— Ну, гости мои дорогие, пейте и гуляйте, как хотите, теперь ваша воля, а не моя.

Гости зашумели:

— Спасибо, князь, спасибо!

Юрица и Болемир посадили старого князя за стол и сами сели напротив него.

Когда все уселись, один из старейших го-

стей начал наливать в чары из ведер мед и подавал его гостям. Гости пили и закусывали. В это время из клетки, которая предназначена была для молодых, вышла толпа девушек, а двое дюжих венедов вывели заярмованного вола, оседланную лошадь, вынесли оружие. Тогда старейший из венедов встал и, глядя на подарки, заговорил:

— Вижу, вижу, подарки добрые! Молодой хорошо заживется.

Молодая встала. Старейший продолжал:

— Вижу, вижу, подарки добрые! Молодому хорошо заживется.

Молодой встал.

— А что же мы княжны-то не видим? — спрашивал тот же старейшина. — Покажи нам ее, князь.

Болемир снял с головы Юрицы покрывало. Юрица стояла с опущенными ресницами и рделась, как заря.

Гости ахнули:

— Ах, какая пригожая, складная!

Вышедшие из клетки девушки между тем начали петь песни. Молодые поцеловались и сели. Тут из-за толпы девушек вышла домо-

водка княжеская, старушка, и начала вместо матери причитать:

— Ах, я горькая! Ах, я несчастливая! — плакала старуха и обратилась к невесте: — Милая доченька моя! Каково тебе? Поведай мне по правде, не скрываючись. Каково тебе? Поведай мне, милая моя!

Юрица встала и, кланяясь всем гостям, тихо заговорила:

— Хорошо мне, гости дорогие! Ах, как хорошо! Как не хорошо было, не сидела бы я с князем за столом одним, не глядела бы я на него, на мое солнце красное, не поважала бы я его, красавца моего!

Среди гостей слышались голоса:

— Ладно! Ладно! Ай да невестушка-пригожница! Не солгала перед нами, перед стариками, о своей зазнобушке сердечной!

Юрица села. Ее речью окончился обычный обряд, необходимый при бракосочетании.

Замечательно, что при бракосочетаниях у венедов жрец не принимал никакого участия. Он оставался в стороне. Для него отвели особую клеть, где он и угощался один, как хотел. Вообще, несмотря на то что жрец считался

езде одним из почетнейших и важнейших лиц, его все-таки чуждались. Да и сам он, по исключительности своего положения, не искал сообщества с другими.

К полудню головы гостей немного охмелели. Поднялись оживленные речи, закипели неизбежные споры, и даже началась игра в кости.

Игра в кости у всех вообще славянских племен прежнего времени считалась одной из занимательнейших, и они ею, преимущественно на пирах, всегда увлекались, и увлечение это доходило до того, что, проиграв все, нередко пускались на ставку свобода и даже сама личность. Победенный в таком случае беспрекословно подчинялся рабству, давал себя связывать и продавать. Этот поступок считался честным. Выигранных невольников в большинстве случаев, не пользуясь ими лично, продавали, чтоб избавиться от стыда подобного выигрыша. Игра в кости не всегда оканчивалась перебранкой, а чаще всего убийством и ранами.

Закон за такое убийство не преследовал преступника, имел право преследовать род-

ственник убитого.

Даже в позднейших законах славянских законодателей, например, в «Русской Правде» Ярослава, за убийство на пиру ответственность уменьшалась наполовину.

На свадебном пиру у старого князя, хотя венеда и играли в кости, и довольно шумно играли, однако никто не хватался за оружие, чтобы наказать противника. Все обходились друг с другом и сановито, и хорошо. У всех было одно в голове: предстоящее переселение. О чем бы венеда ни говорили, о чем бы ни спорили, всегда речь сводилась на занимающий их вопрос переселения.

Только Юрица и Болемир оставались на пиру безмолвными слушателями и зрителями всего того, что вокруг них происходило, несмотря на то что во всех спорах, во всех советах имя Болемира не сходило ни у кого с языка. Таков был обычай страны, таково было требование бракосочетания. Впрочем, Юрица и Болемир были настолько счастливы и довольны друг другом, что условное молчание несколько их не стесняло, а, наоборот, внутренним чувствам их давался полный

простор, и каждый из них мог наслаждаться наступившим наконец для него счастьем, как ему было угодно. Изредка, однако, Болемир и Юрица переговаривались между собой, — на это они имели право, — но коротки были речи их. Они больше говорили душевным языком, как вообще говорят все счастливые и довольные.

Старый князь тоже был не особенно разговорчив. Венедские старики вели себя на пирах вообще важно и спокойно. Шумела и бурлила большей частью молодежь, которой в этом случае давался полный простор. Но зато в делах, которые требовали совета и обсуждения, старики занимали первое и почетное место. Их слово было законом. А общественный закон даже не судил старика за преступление. Старик только лишался уважения от молодежи, и это было ему тяжелее всяких наказаний. Когда стариков встречали вне дома, им давали дорогу и кланялись им, как кто хотел, смотря по степени, которую занимал почитаемый старик. Если случалось какое-либо недоразумение: ссора, драка, и встречали старика — все сейчас же с охотой отдавались на

его суд, суду его верили и тотчас же исполняли то, что он советовал. Редко случалось, что старики злоупотребляли тем доверием, которым они пользовались. А если случалось, то старик прятался от людей или оканчивал постыдную жизнь свою тайным самоубийством. Искупительным самоубийством в этом случае считалось самоубийство — зарезаться жертвенным ножом, которым жрец, принося на алтарь своего бога жертву, поражал вола, ягненка, гуся.

Так как к вечеру положено было отправиться на место казни венецких князей и принести там обет на защиту племени венецкого, то, едва начало смеркаться, все стали вставать из-за пиршественных столов и напоминать друг другу о великом обете.

— Брате, — слышались голоса, — не пей больше меда, будет, сейчас пойдем на поляну — обет дадим.

— Дадим, дадим, брате!

Встал и старый князь Будли, встал и заговорил, обращаясь ко всем. А все тоже встали и тоже, в свою очередь, обратились к старику, ожидая от него мудрой речи.

Будли заговорил:

— Братья, вдоволь ли вами попито, вдоволь ли вами поедено?

— Вдоволь, князь! Вдоволь! — отвечало ему множество хмельных, но бодрых голосов.

— А коль так, а коль вы по правде говорите, то и я вам скажу правдивое слово.

— Слушаем, князь, твоего слова!

— Мое слово коротко. Положили мы, братья, принести нынче обет на защиту племени венедского, так не пора ли нам исполнить его?

— Пора, пора, князь!

С этими словами толпа гостей окончательно повылезала из-за столов, повылезала то бодро, то немного, а то и очень много пошатываясь; а некоторые и совсем не вылезали, потому что как сидели, так и заснули, чересчур уж напившись крепкими медами и разными ячменными напитками. Хмель, однако, нисколько не помешал гостям старого князя Будли, поблагодарив его за хлеб, за соль, а молодым пожелав искренне всякого рода счастья и благополучия, тотчас же отправиться гурьбой на условленную поляну.

Жертвенные бараны и другие принадлежности жертвоприношения были отправлены туда еще заранее; вместе с ними отправился и жрец.

Мало-помалу жильё старого князя опустело: все ушли на поляну, и старый, и малый. Осталась в жильё одна только старуха, домо-водка княжеская, которая долго еще причитала о сиротской доле княжны-красавицы, Юрицы...

Даже пиршественные столы остались под деревьями неубранными, так все торопились на новый пир...

Там же, где не так давно мстительные готы распинали венецких князей, на том же самом берегу Немана венецы воздвигали и свой жертвенный костер.

Костер уже пылал вокруг жертвенного камня, когда к нему с ножом в руках приблизился жрец. Все собравшиеся на поляне венецы, мужчины и женщины, стояли вокруг костра с зажженными смоляными палками в руках. Впереди всех стояли Болемир, Радогост, Олимер и Будли. Радогост и Олимер были дюжие, крепкие парни, но очень еще мо-

лодые и, по-видимому, мало подавали надежд быть защитниками своей родины и править таким делом, как переселение народа с одного места на другое. Но у венедов не было под руками других испытанных князей, и молодые князья, как бы по необходимости, были избраны в предводители. Вся надежда переселенцев возлагалась на Болемира, которого с берегов Вислы до берегов Немана все знали как храбрейшего и знаменитейшего князя. И в самом деле, на Болемира можно было надеяться: несмотря на вынесенную им пытку, он, высокий, статный и плечистый, выглядел таким молодцом, что любо было смотреть. Находившаяся вместе с другими у костра Юрица замирала от удовольствия при взгляде на своего пригожего мужа и с нетерпением ждала окончания жертвоприношения.

А жертвоприношение только что еще началось.

Приблизившись к жертвенному камню, который состоял из четырехугольного куска серого гранита, с символическими знаками, жрец взмахнул над ним ножом и громко сказал:

— Жертвенный огонь — дань бытию!

Вся толпа повторила за жрецом:

— Дань бытию! Дань бытию!

Жрец после этого засучил рукава своей одежды, а перед ним положили связанного ягненка и барана, он должен был их зарезать. Двумя взмахами ножа зарезав сначала ягненка, потом барана, он, не снимая с них шкуры, с кровью, капавшей на его одежду и на землю, кинул их на жертвенный камень. Огонь быстро охватил кинутые жертвы, а жрец, став на колени и склонив голову, стал шептать одному ему известные тайные религиозные молитвы. В это время каждый из присутствующих старался смочить кровью жертв край своей одежды. Жрец молился до тех пор, пока жертвенные животные не обуглились на камне. Тогда он встал, снял вилами жертву и начал резать ее на части.

Болемир, Радогост и Олимер подошли к жрецу.

Первый кусок он подал Болемиру, второй — Радогосту, третий — Олимеру. Все трое начали есть обуглившееся, почти еще сырое мясо ягненка и барана. Это значило, что они

посредством пищи, освятившейся на жертвенном костре, соединяются с обителем божеств, делаются высшими между людей, посвящаются в верховную власть и делаются предводителями сил.

Когда посвященные съели свои доли, жрец поочередно подвел их к самому костру, склонил перед костром их головы и накрыл их грубой холстиной. Все присутствующие стали на колени. А жрец, вынув из своей одежды восьмиугольный кусок лубка, на котором был вырезан обрядовый закон, начал читать:

«Принявший посвящение по обряду, да заботится охранять справедливостью все подвластное ему».

«Мир без владык был отовсюду потрясаям ужасом, и потому были созданы цари».

«Приняв вечные частицы восьми божественных сил мира и заключая в себе их, они превосходят по освящению всех смертных».

«Они по могуществу есть огонь, воздух,

свет солнца, блеск луны, дух правды, богатства, божество вод и властители земли».

«Никто да не осмелится сказать: «царь также человек», ибо он есть высочайшее божество в образе человека».

После этого Болемир, Радогост и Олимер сами сняли с голов своих покрывала, а присутствующие поднялись с колен, поочередно подходили к жертве, отрезали себе жертвенным ножом маленькую частицу жертв и ели. Когда от жертв остались одни только кости и внутренности, их бросили в огонь, а каждый из присутствующих подходил к посвященным и, проговорив: «амарата»[2], целовал край их одежды. Первым подошел Будли, последней — Юрица. В то время как она целовала край одежды своего мужа, склоняясь потом до самой земли, Болемир слегка коснулся своей ногой ее шеи. Это означало то, что она одна из первых должна склонить свою шею перед своим верховным повелителем.

Этим обряд посвящения и оканчивался. Далее начинались игры и пляска вокруг костра.

Игры свои венеды начали с плясок около костра: участвовали все, кто только мог участвовать. Сначала всякий, мужчина и женщина, плясал отдельно, и плясал необыкновенно тихо. Сперва пляшущие покачивали свои корпуса вправо и влево, а потом отбивали ногами известные колена и обороты. Неучаствовавшие в пляске должны были как можно более разложить костров и зажечь смоляных палок, чтобы пляшущим было светло. Поплясав отдельно, все мало-помалу соединялись, хватая друг друга за руки, и тогда происходила уже общая пляска.

Пляска производилась под звуки нескольких гуслей, которые в этом случае бренчали без умолку, сопровождаемые возгласами гуляров:

— Лола! Лола! Лола!

Костры горели все ярче и ярче, а пляшущие, освещаемые ими, все более и более оживлялись, так что потом вся пиршественная поляна покрылась несмолкаемым гулом веселья. Голоса смешивались с голосами, звуки гуслей с другими подобными же звуками, и далеко по окрестности разносился этот гам

славянского неудержимого веселья.

В числе пляшущих находилась и Юрица. Разгоряченная быстрыми движениями, веселая, зардевшаяся, она приблизилась к Болемиру, который, по праву высшего, не участвовал в пляске, а только любовался ею.

Приблизившись к нему, Юрица остановилась, как бы желая что-то сказать. Счастливый супруг привлек ее к себе и покрыл ее лицо поцелуями.

— Милый, ладный! — страстно шептала Юрица, крепко прижимаясь к нему. — Неужто ты поважаешь меня, такую непригожую!

Болемир молчал и сильно сжимал ее по стану своей богатырской рукой.

Затем Болемир и Юрица ушли. Но пир продолжался до утра.

Утром некоторые, утомленные, обессиленные, заснули, где сидели, а те, которые были пободрее, начали разбредаться по домам.

Возвратясь в свое жилище, старый князь Будли прежде всего подошел к клетки, предназначенной для молодых.

— Тут ли? — постучал он в запертую из-

нутри дверь. Некоторое время ответа не было.

Будли повторил свой вопрос:

— Тут ли?

Послышался легкий шорох, потом голосок Юрицы, тихий, добрый, счастливый...

— Тут, дедушка...

— А молодой князь тут?

Ответа не последовало...

Часть вторая ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Глава I ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Все лето и всю зиму 375 года венедаы приготавливались к выселению.

К весне же 376 года все, кто только хотел куда-либо выселяться, были уже готовы.

Поднявшиеся венедаы разделились на три орды.

Одной из них, которая избрала новым своим местопребыванием крайний север, управлял князь Олимер.

Другой, которая предположила направить путь свой к западу, за Эльбу, князь Радогост.

Третья, и самая главная, которая должна была двинуться к Черноморскому побережью, находилась под управлением князя Болемира.

Все эти три орды составили не менее восьмисот тысяч семей.

Наконец настал момент, и все эти три ор-

ды выселенцев, как тучи, двинулись с берегов Немана и Балтийского побережья на новые места: север, запад и юг...

Двинулись — и все перед ними расступилось, все удивилось им, как новому чуду, все боязливо отступило и дрогнуло, чуя нечто грозное и величественное. Странная молва пробежала среди народов запада и надолго застыла в них, чтобы и будущим поколениям своим завещать и свой страх, и свое удивление перед впервые очнувшейся силой славянской...

Венеды-переселенцы, двинувшиеся на север под предводительством Олимера, состояли большей частью из позёров-рыболовов[3]. Теснимые поработителями на своей родине, в Велаве, Королевце, Браниборе, Ангенбирге, Судавии, изобиловавших рыбными озерами и реками, позёры-переселенцы Олимера решились лучше искать нового богатства в снегах севера, чем отдавать уже нажитое богатство родины неведомому пришельцу.

Поселившись у берегов северного океана и северных рек, они надеялись на добычливый рыбный и звериный лов.

Сборным пунктом для северных переселенцев была назначена Велава.

В условленное время весны 376 года Велава, небольшой городок при слиянии двух небольших рек, впадающих в Венедийское море[4], начала наполняться переселенцами, с их женами, детьми и имуществом.

В звериных шкурах, в облоухих рысьих шапках переселенцы приводили в порядок свое имущество, которое с места его родины, города ли, веси ли, было забрано как попало, потому что всякий торопился поспеть к назначенному времени с целью предупредить готов, которые хотели разбить их отдельными партиями. Тихий и мирный городок наполнился вдруг тысячами звуков и голосов, которые придавали ему какую-то шумную, неестественную жизнь.

К назначенному времени приехал и предводитель их, молодой князь Олимер. Объехав переселенцев, он переспросил у всех, действительно ли они желают переселиться, действительно ли они решились перенести те, может быть, очень тяжелые невзгоды, которые им придется вытерпеть в неведомой

стране. Ответ получился утвердительный: неведомая страна всякого манила к себе, не боялись ее даже жены и дети переселенцев.

И вот, в один день, рано на заре, принесся предварительную жертву языческим богам своим, с необычайным шумом, гамом, скрипом, лаем псов, мычанием коров и волов венеды двинулись из Велавы по направлению к северу.

Путь их лежал через поселения куронов, а далее квенон, к северному побережью Ботнического залива, между Финским заливом и Ладожским озером, а там, далее, что их ждет, что они найдут — они не знали, да и не хотели знать. Им только хотелось идти куда-нибудь, двигаться, чего-нибудь искать, разумеется, лучшего, а не худшего. Это было какое-то странное и чудное движение, которое могло явиться только у народа или стоящего на низшей степени общежительности, или бесконечно теснимого другой народностью, против которой он не в состоянии был стать с вооруженной рукой.

С венедями, как известно, случилось последнее.

Переселенцев этих готы не останавливали; они считали переселение вовсе не значительным и не опасным для себя. Действительно, это была самая меньшая часть поднявшихся для переселения венедов. Кроме того, они двинулись по направлению, которое не составляло областей готов или подвластных им народов, а стало быть, и не грозило возмущением, которое бы переселенцы могли произвести в их областях.

И переселенцы, не встречавшие препятствий, медленно, но упорно двигались все далее и далее на север... Вот и страна куронов, лесистая, болотистая... Вот и страна квенон — гористая, изузоренная озерами... А вот и самый север...

Но что на севере случилось с этими смелыми переселенцами — неизвестно, история молчит...

Может быть, перетерпев лишения, нужду, холод, голод, они поселились у берегов северных рек, озер, построили нехитрые, но теплые землянки, стали ловить рыбу, бить зверей, меняться ими с соседними народами и были родоначальниками лапландцев и дру-

гих северных поселенцев...

Орда Радогоста состояла совсем из другого рода переселенцев. Переселенцы его были по преимуществу люди, которым нечего было жалеть на родине: изгои, отпущенные рабы, челядь, люди гулевые, головы бесшабашные, и те, кому хотелось людей посмотреть, себя показать, в чужой земле счастья поискать.

Собравшись в чудовищную толпу, вооруженные, смелые, они сразу заполнили пространство между Вислой и Саввой, начали буйный грабеж, не щадя ни чужих, ни своих, и произвели страшный переполох между западными народами. Все народы, обитавшие на пространстве Эльбы и Роны — кошубы, варны, вагры, фрязи, ховоляне, древане, длуманы, тунгри, немети, херуски и множество др., - пришли в ужасное смятение. Набег венедов-славян был так велик, так неожидан, быстр, неотразим, что вдруг пронеслась среди народов грозная весть о появлении какого-то неизвестного, дикого племени, которое не знает своему зверству предела, и все бежало, робело, искало спасения, молилось.

А бесшабашный Радогост со своими лету-

чими легионами появлялся везде, где только чуялась хорошая добыча, и все жег, рушил, стирал с лица земли, грабил и шел дальше, чтобы произвести подобное же опустошение. Никакая сила не могла остановить его смертоносного движения. Как орел, он появлялся везде, как орел, он исчезал отовсюду. Народы затрепетали, народы почуяли нечто чудовищное, какую-то великую кару небес.

Между тем с берегов Немана на берега Понтийского моря двинул своих переселенцев и Болемир. В то время как орда Радогоста, появляясь то там, то здесь, производила везде переполох и замешательство, переселенцы Болемира двигались тихо, стройно, сознательно. Несмотря на это, Болемир со своими переселенцами на всех народов, обитавших по берегам Вислы, Буга и Днестра, произвел еще большее замешательство. Никто и никогда не видывал и не слыхивал о такой страшной силе. Заслышав о движении куда-то неведомого народа, еще не видя его, большинство населения, где предполагался путь, по которому пройдет новый народ, ринулось за Дунай, в Мизию, где, в свою очередь, произвело заме-

шательство.

А Болемир все двигался вперед, двигался так же спокойно, так же сознательно, как и с самых берегов родного Немана, устраивая по трудному пути мосты через реки, гати и плотины через болота и трясины, вырубая дремучие, непроходимые леса, которыми была покрыта вся нынешняя Гродненская и Минская губернии.

Готский король Эрманарик, услышав о движении венодов, хотел своими силами удержать это движение. Он собрал огромное войско и расположил его у истоков Буга и Днестра, которые были заселены особенно многочисленными и богатыми селениями готов.

Главные силы он сосредоточил в городе Холме на Буге, где и хотел дать отпор Болемиру.

А Болемир действительно двигался по этому направлению. Он двигался, собственно, к Киеву, но так как по случаю болот и лесов земли народов и сироматов не было другого, более краткого пути, то он и шел, прорезая страну судавов и города Нур, Бельск и Боцки,

прямо на Люблин и Холм.

Город Холм, один из лучших готских городов, расположен был на левом берегу Буга, в некотором расстоянии от него. От Холма до Люблина на запад, прорезаемые притоком Вислы, тянулись густые сосновые леса, заселенные по окраинам податными земледельческими племенами, носившими название венных, или венечных. На восток к Лучку и Дубно, изобиловавшими пастбищами и лугами, селились так называемые сироматы, или сарматы, — люди бессемейного качества. На юг от Холма города: Владимир, Броды, Янов, Бук, Залесье, Кременец, Заслав и Львов, носившие в более позднее время название Червонных Градов или Червонной Руси, — были заселены славянским племенем будинов, или бужан.

Эрманарик, столетилетний старец, сам лично взялся предводительствовать войсками, а для более надежного отражения неприятеля велел устроить вокруг города деревянную стену, а ниже, на юг, между Гиеразом и Дунаем, вдоль границ тайфалов, высокий вал [5]. В Холме с отборными силами остался сам

Эрманарик, а опытные и мужественные воеводы его, Алафей, Сафракс и Атанарик, стали выжидать неприятеля вне города, на севере, откуда двигался Болемир.

Болемир, предупрежденный о приготовлениях готского короля Эрманарика, в свою очередь, принял меры для более успешного поражения своих недавних поработителей.

Переселенцев, которые составляли более трехсот тысяч семей, он разделил на три отряда. Первый отряд состоял из воинов, испытанных на войне, и молодых людей, которые имели жен и детей. Отряд этот, сопровождаемый женами с детьми, должен был двигаться впереди. Второй отряд состоял из людей хотя и бодрых, но неспособных к войне; третий — из старцев, сопровождавших имущество, и части настоящего военного сословия, которое служило ему защитой на случай нападения.

Главная сила сосредоточивалась в первом отряде, который должен был двигаться вперед и пролагать путь для двух последних, более слабейших, отрядов. В этом отряде передовую колонну составляли обручники.

Они назывались обручниками потому, что

носили на руках и ногах темные металлические обручи. Металлический обруч служил признаком храбрости и того, что носящий их дал обет всегда быть впереди на войнах. Многим из храбрейших нравился такой обычай, и они до глубокой старости носили этот знак, отличавший их и у неприятелей, и у своих. Обручники в мирное время не имели ни домов, ни полей, ни малейшей о чем-нибудь заботы. Куда приходили, там и получали свое продовольствие. Роскошествовали чужим добром, пренебрегали своим собственным, пока бессильная старость не делала их неспособными к такому суровому мужеству. Во всех сражениях обручники первые начинали сражение и, прежде всего, поражали своей наружностью. Для придания же наружности грозного и устрашающего вида они расписывали свое лицо черными и красными красками, для чего на лице делались ножом прорезы, брили свои головы, включивали длинные густые бороды и носили большие черные щиты. Редкий неприятель выдерживал напор обручников.[6]

За обручниками шли крикуны. Обязан-

ность крикунов состояла в том, чтобы во время боя производить резкие и сильные звуки, которые считались необходимыми как для воодушевления воинов, так и для запугивания неприятеля. Крикуны старались производить дикие звуки и порывистый гам, подставляя ко рту свои щиты, чтобы отраженный голос раздавался сильнее и громче. В числе крикунов были и гадляры, нечто вроде гусяров, которые перед боем пели витязные песни, вторя своими инструментами, наподобие четырехструнной лиры.

За крикунами шли обыкновенные воины, а за ними их жены с детьми.

Жены у славян в описываемую эпоху, во время войн, играли довольно важное назначение и служили самым сильным возбуждением их храбрости. Воюя, воины слышали за собой говор жен и крик детей, которые были неподкупными свидетелями их храбрости, первые ценители их и восхвалители. К матерям и женам несли они свои раны, и жены и дочери не боялись считать их и высасывать из них разъедающий состав стрел. Они же приносили сражающимся пищу и утешение.

Случалось, что павшие духом и бегущие уже с поля сражения войска были остановлены женщинами, которые, заграждая им путь грудью своей, с настойчивой мольбой говорили им о предстоящем плене, при одном имени которого воины содрогались за жен своих, шли вперед и оставались победителями. Да и вообще женщинам у славян приписывалась какая-то святость и предвидение, а поэтому их советами никогда не пренебрегали. Другие народы, знавшие о таком уважении к женщинам славян, во время договоров с ними, чтобы более обязать их верностью, брали у них заложницами несколько девиц знатного рода.

Во главе первого отряда шел и сам Болемир, а Юрица находилась в числе жен, сопровождавших этот отряд.

Семнадцатилетняя Юрица в это время была уже матерью. Собственными руками она носила трехмесячного крошку младенца и нигде не хотела расставаться с ним. Всю свою женскую, юную любовь она сосредоточила на этом крошечном невинном существе, на этом первенце, в которого она вложила всю свою

расцветающую, не знавшую еще испытаний жизнь. День и ночь она нянчилась с ним, день и ночь она напевала ему свои немудреные, но задушевные песни, которые нашептали ей струи родного Немана и окружавшие его дремучие и хмурые дебри. С какой радостью она кормила его грудью! С каким наслаждением любовалась им, когда он засыпал у ее сердца! Отдавшись вся любовью к младенцу, Юрица не печалилась даже о судьбе своего дедушки Будли, которого она покинула одного на берегах Немана. Только иногда, при взгляде на какого-нибудь старика, она спрашивала самое себя: «А что теперь с дедушкой? Жив ли он?» Но тотчас же забывала дедушку, как только припоминала о другом существе — своем сыне.

Любил своего первенца и Болемир. Как и мать, он тоже много заботился о нем, много любил и в будущем, по обыкновению родителей, возлагал на него тысячи надежд и тысячи ожиданий.

Даже брат Юрицы Аттила, всюду следовавший за Болемиром, и тот нередко заглядывался на крошечного младенца и говорил Юри-

це:

— Корми, корми, из него хороший воин выйдет.

Аттила, несмотря на свои отроческие годы, уже отлично владел клевцом, топором и отлично скакал на лошади.[7] Болемир, любив в нем будущего храбреца, приблизил его к себе, и он повсюду сопровождал Болемира, как юный паж и оруженосец.

Болемира всегда сопровождали еще и двое других молодых князей, родных братьев, Данчул и Рао.

Данчул и Рао были уже совершенно взрослые юноши и принадлежали к одному из славянских княжеских родов, истребленных готами.

Они принадлежали к княжескому роду славянского племени судавов и примкнули к Болемиру со своими приверженцами по пути. Свежие, здоровые, полные юношеского огня, Данчул и Рао, подобно многим, хотели отплатить готам за позор своих родителей...

На тридцать второй день исхода с берегов Немана, не встречая со стороны готов препятствий, Болемир приблизился к Холму-городу.

Войска Алафея, Сафракса и Атанарика стояли станом на правом берегу Буга, по которому двигался Болемир, и чутко выжидали врага.

Болемир, в свою очередь, не дремал: разослал повсюду разведчиков узнать о силе скопившихся в Холме-городе готов, чтобы предупредительно отразить их нападение или, по обычаю своего народа, в глухую ночь неожиданно-негаданно напасть на них и смять первым натиском.

Болемиру, однако, с его многочисленными, но нестройными полчищами приходилось иметь дело с очень искусными полководцами и стройными легионами готов. Болемир это сознавал и потому вел свой передовой отряд осторожно. Он, как бы беспечно, вовсе не подозревая того, что готы намерены отразить нападение, велел расположиться отряду на берегах Буга для разгульной стоянки. Он приказал одной части многочисленного отряда разложить костры, петь песни, играть на гуслях, плясать вокруг костров и вообще делать вид, что отряд предается разгульному и беспечному пиршеству, тогда как другая часть

отряда, с женщинами и детьми, залегла в густых соседних зарослях. Готские разведчики были обмануты этой далеко не мудреной уловкой, дали весть стоявшим невдалеке готским легионам, и готские легионы быстро двинулись на воображаемый пирующий стан переселенцев.

Но только готы приблизились, как с необычайным криком и гамом, с пылающими головнями в руках венеды ринулись на готов и моментально смяли их...

Так произошла первая битва венедов с готами на берегах Буга, положившая основание многим кровавым и страшным битвам, без малого сто лет волновавшим всю западную Европу и прославившим великим переселением народов...

Так незначительно, так просто началась та грозная картина, которая вот уже тысячу пятьсот лет удивляет народы своей мрачной грандиозностью и создает целые невероятные сказания, саги, квиды и легенды...

Так поступили те, которые впоследствии получили грозное название гуннов, народа неведомого, зверского, чудовищного...

Смятые готы оправились, однако, от первого натиска венедов, получили подкрепление, устроились и наутро под предводительством трех полководцев начали новый бой, но были окончательно поражены нахлынувшей силой венедов и бежали в Холм.

Узнав о поражении своих полководцев, Эрманарик с лучшими своими силами сам вышел против грозных полчищ.

И у самого Холма-города произошла третья битва, окончательно обессилившая готов.

А Эрманарик, этот грозный властитель готов, этот, по истории, непобедимый король в отчаянии убил сам себя: он на поле битвы пронзил грудь свою собственным мечом.

После трех неудачных битв часть готских войск через Люблин бежала в Радомысль и Тырнов, а другая заперлась в Холме-городе.

Утомленные битвой, победители расположились на отдых у самых стен Холма-города.

Одержав сряду три блистательных победы, непобедимый Болемир, увы, им не радовался.

Считая убитых, раненых и оставшихся в живых, он не досчитался своей молодой любимой жены Юрицы с младенцем, и куда она

девалась — никто не знал. По всему полю битвы, по соседним лесам и зарослям были разсланы посланцы искать ее, но все они, один за одним, возвратились с недобрым ответом: «Нет, князь, княгини твоей, Юрицы».

Омрачился Болемир и понял, что Юрица взята врагами в полон.

Предположение его вскоре оправдалось...

На другой день, с рассветом, на деревянной стене Холма появился гот и громко затрубил в трубу. Это было знаком, что он просит у победителей дозволения говорить.

В стане Болемира, в свою очередь, затрубили в трубу, и из стана воинов выехал верхом на коне молодой князь Рао для переговоров с готом.

— Ты кто? — крикнул Рао, обращаясь к готу.

— Я посланец князя Атанарика! — отвечал громко гот.

— А какого ты рода? — спросил Рао.

Так Рао спросил потому, что князю недобро было бы вести переговоры с челядинцем или простым воином.

— Я родной брат Атанарика, честный воин

и честный человек, — отвечал гот.

— Что ж тебе надобно?

— А то: княгиня ваша, Болемирова жена, с малым младенцем в наших руках. Коль отойдете от Холма, мы отдадим вам княгиню вашу с младенцем целу и невредиму, а коль нет — не отдадим.

Рао сообщил Болемиру об условии готов.

Болемир сперва обрадовался сообщению, потом глубоко задумался; в сердце его заговорили два чувства — чувство любви и чувство долга. Подумав, Болемир не нашел ничего лучшего, как собрать совет, и перед советом в немногих словах передал причину, по которой он созвал его.

Советники долго думали и наконец надумали:

— Недобро, князь, жертвовать племенем для одной жены с младенцем. Нехорошо тебе, правда, жалко своей жены, а младенца — пуще, да ведь и всем нам нехорошо. А коль мы раз уступим готам, то уж и дальше уступать будем, и из того, что мы начали, ничего не выйдет, и готы опять начнут нас распинать и резать, как и прежде распинали и резали. А

впрочем, твое слово, князь: как захочешь, так и сделаешь.

Но князь не имел права сделать иначе, слово совета было великое слово, и не исполнить его — значило не исполнить закона родины, освященного веками.

С ноющим сердцем, побелев, как плат, дрожа, Болемир проговорил:

— Ладно: я отдам готам свою жену с младенцем, но и вы отдайте мне души свои, коль племя для вас дороже всего на свете!

— Отдаем! Отдаем! Мы все твои, князь! — прокатилось по всему стану венедекскому.

После этого Болемир промчался на коне по всему стану и повелел воинам строиться в боевой порядок. Войска начали строиться, а Рао снова выехал вперед и закричал ожидавшему ответа готу:

— Делайте с княгиней и младенцем что хотите, а мы от Холма не отойдем, покуда не перебьем вас всех, псов рудых!

Рао погрозил готу клевцом и скрылся в строящихся в боевой порядок войсках Болемира.

— Так знайте же, челядинцы подлые, что и

вам несдобровать от меча нашего! — крикнул гот и скрылся за стеной.

В ответ ему послышался угрожающий крик из стана венедского, и венеды, обычным углом построения пехотинцев[8], начали приближаться к стенам Холма-города.

Угрожающий крик раздался и в стенах Холма-города: появившиеся в большом количестве на стене готы издавали грозные звуки и махали в воздухе мечами. Новая бревенчатая стена даже дрожала от этих криков и тяжести собравшихся на ней воинов. Среди готов находился и сам предводитель их, Атанарик.

Приблизившись к краю стены, он закричал:

— Куда вы идете, челядинцы? Мы вас всех перебьем! Вы думаете, у нас нет князя — есть князь, да еще какой, не вашему чета! Вы знаете ли Видимира? Он у нас князь! Так идите-ка лучше по домам и обрабатывайте землю, чем поднимать руку на такого непобедимца! А он за смирение помилует вас!

— Долой, псина негодная! — раздалось несколько диких голосов из стана венедско-

го, и вслед за этим в Атанарика полетело несколько обоюдоострых метательных топоров, но так как пространство, отделявшее враждующих, было слишком велико, то ни один из топоров не долетел даже до стены.

Атанарик рассмеялся:

— Эх, вы, челядь сироматская! И топорами-то метать не умеете! А вот вы поглядите-ка, как я мечу, на диво!

С этими словами он вывел на стену Юрицу с младенцем на руках. Юрица была одета в позорное рубище, которое обнажало некоторые части ее тела; младенец был совсем голый. С рабскими веригами на ногах, страшно бледная от слез и страданий, вынесенных в неволе, Юрица стояла с опущенной головой.

— Видите! Это ваша княгиня! — кричал Атанарик. — Как она, и вы все, со своим князем, будете в рабских веригах! Уйдите лучше, говорю вам!

При взгляде на свою опозоренную жену сердце Болемира болезненно сжалось, защемило, а в глазах вдруг стало темней и темней.

— Юрица! — тихо простонал он.

— Князь! Что ж ты молчишь? — заговори-

ли в один голос Рао и Данчул. — Нас позорят, а ты молчишь!

Болемир ничего им не отвечал. Он поднял свои глаза на стену. Юрица стояла в прежнем положении, с опущенной головой, и, казалось, не видела перед собой ничего. Какие-то странные мысли пробежали в голове Болемира и сейчас же исчезли. Так как Болемир, ехавший впереди, остановился, то остановились и двигавшиеся за ним воины. Наступила какая-то непонятная, тягостная для всех минута. Враждующие, казалось, чего-то выжидали, но чего — они сами не знали. Вдруг чей-то метательный топор из стана венедского упал у самых ног Атанарика.

Атанарик встрепенулся.

— А! Вы все-таки еще не усмиряетесь, челядинцы! Так вот же вам ваша княгиня с ее проклятым отродьем!

Меч Атанарика мелькнул над головой Юрицы. Юрица дико взвизгнула и скрылась за стеной. Через мгновение окровавленная голова ее упала у самых ног Болемировой лошади... Не успела испуганная лошадь отскочить от столь неожиданного кровавого ядра, как

уже, рассекая воздух, прямо на Болемира летела рука и нога несчастной Юрицы... За ними последовал и изуродованный труп младенца...

— Вот вам ваше гадливое отродье! — кричал Атанарик. — Берите, хватайте его!

И после этого в стан венецкий, визжа в воздухе, понеслась целая туча готских стрел.

Ошалел Болемир и, как дикий раненый зверь кидается на своего врага, — кинулся к стенам Холма-города. Воодушевленные примером своего князя, также порывисто кинулись за ним и венецы.

И началась битва, битва дикая, зверская, и не битва, а скорее человеческая бойня, не знавшая ни предела, ни человеческих чувств. Как Божья гроза, носился Болемир на своей малорослой лошади, и посреди своих, и посреди врагов, и всюду, где он только появлялся, витала неизбежная, тяжелая смерть. Он молчал, он не кричал своим воинам обычных в битве воодушевлений, но молчание его было лучшим воодушевлением для остервенившихся венецов, бывших недавно свидетелями столь зверского поступка Атанарика с безза-

щитной женщиной. Все поняли, что князь сделал ради народа сверхчеловеческую жертву, и своей храбростью хотели искупить ее перед ним.

Вскоре стена Холма-города была разрушена. Венеды ворвались в город и стали истреблять и старого и малого. Никому не было пощады: ни младенцам, ни женам, ни девицам. Смерть, смерть, смерть и насилие, необузданное, мрачное, заполонило весь Холм-город и продолжалось и весь день, и всю ночь.

Пользуясь темнотой ночи, готы со своим князем Видимиром и воеводами, Алафеем, Сафраксом и Атанариком, в страшном беспорядке бежали к восточным берегам Днестра...

Наутро в Холме-городе уже не рыскали воины Болемировы, отыскивая скрывшуюся жертву, а целым потоком, с треском, смрадом, плавали волны всепожирающего огня. И все пожрал огонь: и дома горожан и их тела, с женами, детьми, и тела павших в битве воинов, и недавно защищавшие город стены.

В погоню за готами Болемир отрядил лучшую часть венедов под предводительством Рао, повелев ему не щадить ничего, что встре-

тится ему на пути, а сам с остальными частями переселенцев двинулся к Киеву.

Рао, все разрушая и истребляя на пути, вскоре настиг готов, которые под предводительством своего князя Видимира хотели отразить его, но были разбиты несколько раз, и сам князь их, Видимир, погиб в одной из битв.

На место Видимира был избран малолетний сын его, Видерик, которого приняли на свое попечение Алафей и Сафракс.

В 20 милях от воздвигавшегося Атанариком между Днестром и Прутом вала Рао встретил посланный Атанариком полководец Мундерик, наблюдавший за венедами и предполагавший между тем надежно укрепиться. Но Рао, проницательный в соображениях, понял, что перед ним не главные силы. Показывая вид, будто он расположился станом против передового отряда, он переправился во время ночи через Днестр, разбил Мундерика, внезапно напал на Атанарика, смял его и заставил искать спасения в горах, а потом — за воздвигнутым валом. Но и там Рао насел на Атанарика и взял бы его в плен, если бы бога-

тая добыча, оставшаяся в окопах, не остановила его грозной быстроты.

После этого Рао начал опустошать римские области и города в Дации.

А между тем большая часть войска готского, нуждаясь в самом необходимом пропитании, разбежалась от Атанарика искать убежища от каких-то новых варваров. После долгих совещаний предпочли идти во Фракию по двум причинам: во-первых, по богатству урожайной почвы, а во-вторых, по преграде, которую она представляла против разлива северных народов по всему протяжению Дуная.

Вследствие этого решения готский полководец Аливив, занимавший берега Дуная, послал к императору Валенсу послов с просьбой о принятии готов в свои области и с обетом жить мирно и по требованию выставлять ему вспомогательное войско.

Таким образом, мощной рукой славянских князей Болемира, Радогоста и Рао рушено в 376 году по Р. Х. мрачное преобладание готов в Германии и так называемой Скифии; они изгнаны из мира языческого. Император Валенс дает им прибежище во Фракии, в мире

христианском, не только на свою голову, но и на беду всей империи. Страшные последствия этого, далеко не радушного, приема хорошо известны истории.

Число перешедших римские границы готов простиралось до миллиона, между которыми считалось более двухсот тысяч способных к войне. Многие из них сохранили при себе оружие, подкупив корыстолюбивых римских чиновников. Едва готы успели поселиться в римской провинции, как их начали страшно притеснять и довели их до отчаяния. Обязанные покупать дурные съестные припасы за дорогую цену, готы вынуждены были продавать своих рабов и даже детей, чтобы не умереть с голоду. Не в силах будучи терпеть более несправедливости римского правительства, готы возмутились и начали грабить страну...

И вот — раскрылась новая картина народных бедствий...

А в то время, как Радогост опустошал берега Эльбы, Рейна и Роны, Рао — римские провинции в Дации, Болемир тихо и торжественно

но подвигался к берегам Днепра, к Киеву, назначенному столицей его нового царства, простиравшегося уже с берегов Немана до берегов Дуная, с берегов Вислы до берегов Днепра...

Глава II

СТОЛИЦА ГУННОВ

По сказанию Нестора, Киев основан тремя братьями: Кием, Щеком и Хоривом, у которых была сестра Лыбедь.

«И был, — говорит Нестор, — около града лес и бор великий, и они, т. е. братья-жители, занимались звериным промыслом, ибо были мудры и смыслени. При Киеве, — продолжает Нестор, — был перевоз на ту сторону Днепра, почему и думают, что Кий был простой перевозчик».

Шлецер считает все эти предания о Киеве и Кие сказкой.

За ним считают их таковыми же и другие историки.

Нельзя отвергать, что они ошибались, предание в этом случае говорит само за себя,

сказка видима.

Стоит только просмотреть сказания и легенды всех народов, чтобы убедиться в этом. У каждого народа есть что-либо близко подобное, что-либо подходящее. Три — это какая-то символическая цифра и служит любимым сказочным мотивом не только у славян, но и у других народов. Еще у древних скифов, по известию Геродота, существовал миф об их происхождении от царя Таргитая и его трех сыновей: Арпаксая, Лейпаксая и Колаксая. В средние века встречается у славян миф о происхождении трех главных славянских народов от трех братьев: Леха, Чеха и Русса. В Ирландии существует предание о призвании трех братьев с Востока: Амелака, Ситарака и Ивора. В параллель с Кием, Щеком и Хоривом, в нашей летописи, на севере, являются три брата: Рюрик, Синеус и Трувор. Наконец, кто не знает наших русских сказок, где цифра три играет всегда не последнюю роль.

Не отвергая значения летописи Нестора, — летописи, имеющей для русского народа священное значение, — нет, однако, надобности безусловно верить ему, имея под руками дру-

гие источники, более правдоподобные. Весь недостаток Несторовой летописи в том, что он далее Рюрика ничего не знал и не мог знать. Вот почему он начинает свою летопись легендами. И за это его винить нельзя. История всех народов начинается легендами, в большинстве случаев невероятными и странными. Легенда о построении Киева более других еще допускает вероятие. Рассказывая свою легенду о построении Киева, Нестор не знает, когда он, собственно, построен, что еще более заставляет сомневаться в его рассказе. Трудно допустить, чтобы летописец, зная о времени построения города, мог умолчать о нем. Время в этом отношении имеет важное значение.

Исконное существование Киева не подвержено, однако, сомнению. Положение его на водном сообщении Балтийского моря с Черным, и при перевозе чрез Днепр, на сообщении Европы с Азией, по сухому пути, составляет перекресток, сам собою определяющий место для основания города и кладовой для торговли.

Сам Нестор говорит:

«Полянам же, живущим по горам сим, и бе путь из варяг в греки, а из грек по Днепру и вверх Днепра, волок до Ловати, и по Ловати внити в Ильмень-озеро».

Из Скандинавии вообще и с островом Валина, где находилась знаменитая торговлей Винета и других, водный путь лежал по Двине до верховья близ Смоленска, а от Смоленска по Днепру в Грецию и Иерусалим.

И путь Св. Апостола Андрея Первозванного из Херсонеса в Рим лежал по Днепру через Киев.

Летописец повествует:

«И уведа, яко из Корсуня близ устья Днепрское, и восхотя итти в Рим, и прииде в устье Днепрское и оттоле поиде по Днепру горе, и по прилучаю прииде и ста под горами на березе и встав за утра и рече к сущим с ним ученикам: «видите ли горы сия, яко на сих горах воссияет благодать Божия: иматъ град велик бытъ и церкви многи иматъ Бог воздвигнути».

Все пространство, занимаемое ныне Евро-

пейской Россией, и во времена отдаленные было заселено многочисленными славянскими племенами, которые носили разные названия и жили отдельными общинами. Общины эти и подали повод называть славян различными именами. Славяне носят в истории около двадцати названий: скифов, алан, роксолан, массагетов, сарматов, антов, язигов, паннонцев, венедов, яксаматов, буддинов, словенцев, руссов, сербов и др.[9] Сами себя славяне тоже называли различными именами как в отдаленные, так и в более к нам близкие эпохи. Кто станет спорить против того, что Несторовские поляне, кривичи, радимичи, дулебы, драговичи, древляне и др. не славяне?.. Дело слишком ясно и не требует исторических выводов.

В числе других славянских племен существовало в 1-м и 2-м столетиях по Р. Х. и славянское племя, носившее название кутавов. Племя это жило по берегам Днепра до порогов днепровских.

Селилось ли оно там с незапамятных времен или вытеснило собой другое какое-либо славянское племя, — история не дает ответа.

Племя это носило еще и другое название, по всему вероятно, происшедшее от первого или наоборот. Во всяком случае, по некоторым историческим данным, оно известно под именем коуеве, которое, по-видимому, есть не более как испорченная форма кутавы. А кутавы — слово чисто славянское, и весьма естественно, что славянское племя могло носить подобное название. Кут — угол, приют, укромное место.

Поселившись на Днепре, месте удобном во всех отношениях, кутавы, без сомнения, должны были основать городец, и они основали его, сначала, может быть, в виде небольшой веси, а потом и городца. А может быть, город существовал и раньше. Птоломей упоминает о каком-то Митрополисе на Днепре. Кутавы могли только дать городу свое новое название и более отстроить его.

Несомненно одно, что около 220 года по Р. Х. Киев уже существовал и в нем княжил славянский князь Гано, или Иано.[10]

Относительно названия Киева существует несколько предположений. Кроме Нестора, который производит название от строителя

Кия, новейшие исследователи производили Киев от кий, т. е. палка. В греческих, латинских и арабских известиях X и XI веков Киев носит название Киавы, Китавы и Куявы.[11] С этими названиями нельзя не согласиться. Форма их, имеющая женское окончание, много говорит в их пользу. Еще во времена Птолемея город, если только он под Митрополисом на Днепре разумел Китаву, носил прозвище матери градов. По Нестору, это прозвание дал Киеву Олег, взяв его для северного рода князей: «Се буди мати градом Русским». Нельзя не обратить внимания на эту грамматическую неверность: Киев мать, а не отец город. Народ таким образом не мог выразиться. Народ говорит: «матушка Москва», «батюшка Питер». Как пример того, что первоначальная форма Киева была Кутава или Китава, можно указать и на то, что и доселе близ Киева существует местность Китаево, с Китаевскою пустынью, а в Киевской губернии есть два Китая-городка. Остатками монгольщины эти названия никоим образом быть не могут, потому что русские только и знали монголов под именем татар. Из этого видно, что название

московского Китая-города оказывается далеко не единственное.

В описываемую нами эпоху, т. е. в 376 году по Р. Х., кутавы уже носили название Кьян, форма которого, по всему вероятно, произошла от Кутавы же. И с этого же времени область Кьянская начинает быть известной под названием Гуниланда, Киев — Гунигарда, а нахлынувшие туда во главе с Болемиром прибалтийские венедаы — под грозным названием гуннов.

Откуда же явилось подобное название и что оно, собственно, значит?

Гунны не называли себя этим именем. Они по-прежнему называли себя венедами, вендами, славянами. Гунны — название чисто книжное. Только впоследствии, как увидит читатель, соединившись с другими славянскими племенами, они начали носить подобное название, так как оно сделалось грозным для всей Европы и служило признаком храбрости, бесстрашия и ужаса.

Гуниланд, Гунигард, гунны — есть опять же не более как испорченная форма Киев и кьяне, которую дали им рассеянные Болеми-

ром готы.

Разбитые и рассеянные Болемиром готы не могли допустить, чтобы обыкновенная сила человеческая поразила их, и вот, по их рассказам, историк Аммиан Марцеллина, хотя и живший в конце четвертого и в начале пятого века, но никогда не видавший гуннов, рассказывает о гуннах следующее.

«Гунны превосходят всякое понятие о зверстве. У них тотчас же по рождении младенца изрывают ему лицо горячим железом, чтобы истребить проявляющийся пушок волос. По этой причине они возрастают и стареют в безобразии и без бороды, как евнухи. Но вообще они плотны, с могучими плечами и толстой шеей. По необычайному и сгорбленному туловищу они кажутся двуногими зверями или грубой работы болванами, которых ставят на мостах. Этому отвратительному человеческому подобию соответствует и грубость привычек. Они употребляют сырую безвкусную пищу, питаются полевой овощью и кое-каким полусырым мясом, распаренным между ног на спине лошади. У них нет домов,

они избегают их, как кладбищ. У них нет даже шалашей: с самого малолетства они скитаются среди гор и лесов. Встречая жилище, опасаются ступить на порог оногo, даже в крайней необходимости, им страшно быть под крышей. На одежду употребляют холст или шьют оную из лесных кошек, куниц и проч. Это составляет обычную будничную и праздничную одежду, которую они не скидают с плеч, покуда она не истреплется в лохмотья. На голове носят перегнутые набок шапки. Мохнатые ноги свои обвертывают бараньей шкурой. Эта безобразная обувь мешает им свободно ходить, и по этой причине они не способны воевать пешие, но зато они как будто прикованы на своих лошадях, которые хотя крепки, но неуклюжи. Сидя на них иногда по-женски, они исполняют верхом свои обычные занятия. Денно и ночью на коне, с коня продают, с коня покупают, на конец пьют и едят и даже спят, склоняясь на тощую гриву его. На конец же судят и радуют о делах. Бросаясь в бой без всякого порядка, они несутся толпою вслед

за храбрейшим».

Стоит ли говорить, что рассказ этот наполовину суцая клевета на гуннов, т. е. на славян. Славяне действительно всегда отличались и отличаются крепостью своего телосложения, быстротой движений, умом, силой воли; любили употреблять на одежду холст и звериные шкуры, что объясняется чисто климатическими условиями страны, но чтобы славяне уподоблялись диким зверям, изрывали горячим железом лица своих младенцев, боялись жилищ и проч. т. п. — это чистая ложь, ничем не оправдываемая, ничем не объяснимая, если только устранить обручников, о которых упомянуто выше и которые, составляя весьма немногочисленную касту, изузоривали свое лицо черной краской. Подобная грубая легенда только и могла родиться у народа, уstraшенного непомерной силой славянского движения. Порабощенным и изгнанным из северо-восточной Европы готам, которые десятки лет угнетали край и выросли в убеждении своей непобедимости, ничего больше не оставалось, как придать своим победителям вид демонов.

То же можно сказать и относительно происхождения гуннов.

Аммиан вывел гуннов от Ледовитого моря из какой-то страны кинокефалов, и на этом историческом основании кисти и резцы Авзонии, перья Галлии, умы Британии и созерцательность Германии могли создавать какие угодно фантастические образы и создавали их.

По Иорнанду, главным виновником причины зарождения гуннов был Филимер, сын Гандарика великого, конунга готов. Не изгони он из среды своего народа каких-то ведьм, гунны не существовали бы. Но он изгнал их в пустыни, и это изгнание пало не только на головы готов, но и на головы других народов. Ведьмы эти, бродя по степям, сочетались с какой-то вражьей силой и произвели на свет то зверское племя, которое сначала было очень ничтожно и принадлежало к числу людей только по имени, означавшем словесных.

Это сказочное предание напоминает и повествование Геродота о скифах, происшедших от союза Иракла с русалкой Эхидной, полудевой, полурыбой, и о сарматах, происшед-

ших от сочетания благородных скифов с амазонками.

По простодушию ли или с намерением, в духе времени, Йорнанд на одной странице своей истории о готах поместил басню о чудном происхождении гуннов от нечистой силы, на другой — выводит их из недр населения болгар. Путаница эта как нельзя более доказывает, что историк или, зная, что гунны есть одно из племен славянских, был поставлен в необходимость произвести их от нечистой силы, или он просто не имел никакого понятия о гуннах и заимствовал сказание о них у Аммиана.

Тьерри, автор «Истории Аттилы», увенчавший труды запада по этому предмету, отвергая неестественное, счел более благоразумным верить естественному, хотя ни на чем не основанному происхождению победоносных дружин Болемира от костей монгольских. И вот, вместе с этим положением является неизбежно новое, движущаяся картина давления народов от густоты населения в неизмеримых пустынях Сибири. Подобное давление будто бы чудского населения на славян,

славян на германов, германов на галлов, галлов на римлян не уступает скандинавскому рассаднику бесчисленных народов и напоминает сказание о том, как Александр Великий заключил в горах, за Лукоморьем, «все сквернии языци» и что пред кончиной мира они изыдут на пагубу его. Картина подобного движения народов действительно грозно-очаровательна, но она, увы, есть чистая выдумка пылкого воображения повествователя.

Не странно то, что француз, по живости своей природы, мог создать подобную сказку, а странно то, что вот уже десятки лет наши русские историки повторяют ее на все лады и вводят в руководство для юношества; повторяют ее даже те, которые глубоко убеждены во лжи ее. Для чего? — является вопрос. Не для того ли, что нам стыдно сознаться в том, что мы прямые потомки гуннов? Ложный и непонятный стыд! Тем более непонятный, если его породил невероятный рассказ Аммиана о гуннах. Что же касается восстания гуннов на готов и свержения их ледяного, тяжелого ига, то этим мы еще должны гордиться: славянская натура не терпит рабства и не

привыкает к нему.

Между игом готским, давившим славян в 1-м и 2-м столетиях, и игом монгольским — в XIII столетии — есть много общего. Не смешно ли было бы, если бы какой-нибудь татарский Аммиан, желая оправдать победу русских над своим, в течение более ста пятидесяти лет непобедимым народом, вздумал назвать русских подобием зверей!

Да и можно ли верить Аммиану, который тоже, подобно Иорнанду, сбивается в своей истории с предназначенного пути. Он говорит, что гунны жили за Меотическим озером близ Ледовитого океана, и почти слово в слово извлекает из Трога Помпея описание, помещенное выше, парфов, действительно живших за Меотидой, а Меотидой называлось нынешнее Каспийское море. Каспийское море и Ледовитый океан, парфы и гунны, как хотите, странная история!

По византийским историкам, гунны были киммерияне и, стало быть, жили на южных окраинах нынешней России. А исследователь Дегин узнал из китайских летописей, что до нашествия на Европу гунны жили между ре-

кой Иртышом и Китаем...[12]

Вообще вся история гуннов, исходившая с запада, преисполнена подобного рода противоречиями.

Неутомимый Ю. И. Венелин, известный русский славянист, забравшись самыми простыми доводами водворившееся в истории нелепое мнение о владычестве каких-то неизвестных гуннов-монголов на пространстве между Дунаем и Волгой, первый провидел сквозь темноту сказаний византийских, что гуннское царство было славянское царство, хотя название гуннов он и приписывает, собственно, одним булгарам. Это мнение Венелина основано на сказании Иорнанда, сказании, о котором только что было упомянуто, и на византийских писателях, у которых до X века задунайские варвары[13] слыли безразлично то скифами, то сарматами, то гуннами, то булгарами, то руссами, потому что греки понимали под всеми этими названиями один и тот же народ славянский, как мы под названием турков, оттоманов, магометан, османли, сарацин понимаем породу измаелитов.

Историк-филолог П. Й. Шафарик, изыска-

ния которого доставили столько драгоценных материалов для объяснения славянского мира, особенно средних времен, не затрагивая западных ученых мнений, не колеблется сознать гуннов славянами.

В германских народных сказаниях под именем гуннов разумеются славяне.

В северных квидах и сагах гуннские богатыри — Ярослав, Ярожир и проч. — обличают в себе славян.

Саксон Грамматик славян и гуннов принимает за один и тот же народ.

«Все славянские земли, — пишет Гельмольд, — лежащие на восток и исполненные богатства, ныне называются Гунигард, по бывшему в них населению гуннов. Там столичный город Куе. Адам Бременский этот столичный город гуннов называет Кувен».

Но что всего лучше доказывает о чисто славянском происхождении гуннов, так это записки Ритора Приска, заключающиеся в выписках из статейных книг посольства императора Феодосия к царю гуннов в 448 году. Приск вел эти записки, состоя при после Максимилиана. Он сам был свидетелем всего им опи-

санного и очень остался доволен гуннами и их столицей.

Один грек, женившийся и поселившийся среди гуннов, коротко и ясно описал Приску быт гуннов. Он сказал: «Здесь каждый владеет спокойно тем, что у него есть, и никому не придет в голову притеснять ближнего».

И этот-то народ, и этих-то гуннов, в среде которых «никому не придет в голову притеснять ближнего», назвали подобием зверей! И этот-то народ, если верить легендам и хроникам VII, VIII и IX веков, не оставил, где проходил, камня на камне!

Еще лучше: по мнению средних времен, каждое созидание принадлежит Юлию Цезарю, каждая развалина, по всем правам, гуннам. Если летописцу нужно было знать время разорения какого-либо города, а агиографу время мученичества, то хронология не затруднялась приписывать все разрушения и истязания нашествию гуннов.

А между тем гунны были не более как победители и гонители врагов своих: готов, римлян и византийцев. Правда, несколько жестокие победители, но вопрос, лучше ли

них поступали с побежденными те же самые готы, римляне и византийцы?

Гунны ведут войну с Грецией, с Римом, с готами, со всей остальной Европой. Но что же им делать, если вместо соблюдения мирных договоров по взаимной клятве, с одной стороны, хотят врезаться в их тело, с другой — всосаться, а с третьей — подносят заздравный кубок с ядом, как Олегу у ворот Цареградских.

Гунны побеждают и греков, и римлян, и готов, но какой же победоносец не побеждает? И Рим побеждал для того, чтобы утучняться. А гунны не отрезали ни одного куса чужой земли. Гунны, кроме дани, ничего не брали с побежденных.

Гунны Болемира были простые и добрые славяно-венеды, которых один только гнет деспотический и заставил двинуться на берега Эльбы, Дуная и Борисфена и, очень понятно, все рушить на пути, что только сопротивлялось их грозному движению на новые места...

Глава III

ВЪЕЗД В КИЕВ

Шумно и торжественно въехал Болемир в свою новую столицу — Киев.

Не велик и не красив был в это время Киев.

Разбросанный, не кидавшийся в глаза, он состоял из одних деревянных строений: клетей, теремов, мылен и медуш, обнесенных высоким частоколом и утопавших в зелени садов[14]. Но зато прочны были эти терема и клетки и долго служили своим обитателям надежным кровом.

Славяне того времени вообще любили строиться не красиво, но прочно. Битвы, шумные перевороты, периодически волновавшие пространства, занимаемые ныне южной Россией, приучили их к тому. И не то чтобы бедность заставляла кыян строиться некрасиво, а просто неуменье роскошничать. В то время роскошь еще не была занесена к славянам с востока, хотя они и имели с ним постоянные сношения. Роскошь появилась

между славянами только со времен столкновения их с римлянами.

Хотя Нестор и повествует «и был около града лес и бор великий», но окрестности города по свойству своей почвы едва ли изобиловали огромными лесами. Почва окрестности песчана и неплодородна, а на востоке тянется бесконечная голая плоскость. Сомнительно, чтобы когда-нибудь на ней была богатая растительность. А запрос на лес существовал. Постройка судов, необходимых кыянам для торговых сношений с севером и югом, требовала рослого и прочного леса. Поэтому лес и готовые суда доставлялись в Киев с севера, по Днепру, от смолян, кривичей и ленчан. Судовая торговля составляла единственное богатство кыян, и там же было сборное место для кораблей.

Войсковое сословие кыян, князя и дружина, проводили зиму на охоте. В это время производилась в лесах ловля зверей и сбиралась с подданных обычная дань мехами. Когда же Днепр вскрывался, то в апреле месяце они возвращались в Киев и, вооружив суда свои, предпринимали обычное путешествие в Гре-

цию, чтобы менять скору, то есть меха, воск, мед и пленных, на шелковые и золотые ткани, золото, серебро, вина и овощи Греции. Торг производился на марках[15], т. е. на пограничных местах, весной и осенью, в дни, которые соответствовали нашим дням — Юрья и Ивана Купалы. Торг с Грецией производился близ р. Истра (Дуная), против укрепления Констанции, в месте, которое называлось также Маруос[16]. Станция кыян при поездке в Грецию была при устьях Днепра или в лимане Днепровском, на острове, называемом греками Эйфар, а славянами Вулнипраг. Греческая же станция, при поездке морем в Киев, была в пограничном городе Одиссе, который, полагают, находился на месте нынешнего Очакова.

Сказаний, прямых или косвенных, о княжестве кыянском до 222 года вовсе не существует. И об Гано, княжившем в Киеве с 222 года, упоминается мимоходом; о нем упоминается, как об отце, князе кыянском, выдавшем свою дочь Гануцу за датского короля Фродо III, и как о герое кровавой битвы с готами в союзе со ста семьюдесятью князьями.

Потом говорится о Яровите, который обладал всем восточным царством и во владении которого были Киев, Смоленск, Пултуск и Холмоград. Когда один из скандинавских князей Нордиан наследовал свое великокняжение, Яровит поднял на него оружие, победил и ограничил владение Нордиана только Зеландией. Из этого следует, что Яровит далеко распространил пределы своего княжества, по крайней мере — был неограниченным властелином прилегающих к его княжеству с севера земель и одним из храбрейших князей славянской земли. Долго ли княжил Яровит, сказание умалчивает, но еще при жизни своей он, по обычаю страны, разделил владения свои между тремя сыновьями: Остроєм, Ольгом и Владимиром. Княжество кыянское досталось на долю Ольга, иначе Илиаса.

Через тридцать лет после вступления на престол кыянского Гано готы, вытесненные около 189 года с Балтийского моря к Черному, вторглись в Мизию и Фракию. Император Декий двинулся на готы со своими войсками, но готы овладели городом Филиппополем и в 251 году близ Дорита, не в дальнем расстоя-

нии от нынешней Варны, разбили его наголову. Сам император вместе с сыном погиб в этой битве от измены своих полководцев. Склоненные на мир преемниками Декия подарками и ежегодной данью, готы обратили свое оружие на восток и покорили всех народов, живших между Днепром и Доном.

С этих пор Киев, вместе с другими областями славянскими, находился под властью готов включительно до 376 года, когда мощной рукой венедакского князя Болемира рушено было тяжкое преобладание готов над землей славянской...

Долго томившиеся под гнетом готов кыяне встретили Болемира как своего долгожданного спасителя, о котором они молили богов своих денно и нощно. В течение более чем ста двадцатилетнего рабства кыяне, подобно венедакам, много раз поднимали оружие на поработителей своих, но каждый раз сила готов подавляла их, и они должны были смиряться, платить непосильную дань и служить у готов низкой челядью. Злоба их молчала, сила их служила на пользу поработителей.

Болемир и въехал в Киев не как победи-

тель, а как долгожданный гость.

При приближении его к Днепру все готское население Киева и его окрестностей, состоявшее большей частью из войскового сословия, подобно своим западным собратьям, ринулось к берегам Дуная. Быстро разнеслась между ними весть о приближении с севера к Черноморью какой-то чудной, неведомой породы людей, которая на своем пути все жжет, рушит, уничтожает, — и все готское население от берегов Дона до берегов Днепра, от берегов Прута до берегов Таврического полуострова пришло в страшное смятение. Не так пугали готов победы неведомого народа, как его грозное, несметное, спокойное движение из одного края в другой. Не было еще примера, чтобы целый народ, со своими семьями, с имуществом, скотом, товарами, рухлядью, со всякого рода домашними орудиями, — двигался из края в край. Правда, были передвижения, но передвижения, собственно, одного войскового сословия, которое силой оружия пролагало себе новый путь на новые места, или — одной части народа. А тут вдруг движется целый народ, движется, как неотрази-

мая туча, гроза, ураган. Дрогнули готы и, в свою очередь, двинувшись к берегам Дуная, подавили других народов. И вот весь Запад заколыхался, заговорил. Страшная молва, как молва о чуме, пронесла повсюду грозную новость, что между северными народами идет страшная смута, что все пространство Дуная, от Понта до границ маркоманнов и квадов, наводнено бесчисленным множеством варваров, готов, изгнанным из своей родины народом неизвестным и покрывшим весь берег Дуная скитающимися толпами...

И это поражающее, но довольно естественное событие названо историками великим переселением народов...

Как долгожданного гостя кыяне и встретили Болемира.

Болемир с небольшим отрядом любимых витязей всегда ехал впереди своего чудного войска переселенцев.

Со дня смерти Юрицы Болемир совершенно изменился: сделался мрачным, грозным, жестоким и действительно стал походить на чудовищного предводителя чудовищного войска. Он поступал жестоко даже со своими

венедрами, которые, невзирая на это, еще более полюбили его, смотрели на него со страхом, уважением и видели в нем предводителя, ниспосланного для их спасения самим небом. Не проходило дня, чтобы он не налагал на кого-нибудь своей мрачной опалы. Казни совершались ежедневно. За малейший проступок — проступившего ждала смертная казнь. Казнь совершалась в виду целого народа и очень просто: преступника в одной рубашке выводили перед народом, в двух словах объявляли его вину и потом несколько человек быстро, как попало, рубили его топорами. Болемир всегда присутствовал при совершении казни, равнодушный, спокойный. Когда же казнь совершалась, он обращался к народу с небольшой речью, заключавшейся в следующих словах:

— Со всяким будет поступлено так, кто нарушит законы своей родины. Если и я нарушу их, то каждый из вас может кинуть в меня свой топор. Кто знает за мной преступление — кидай топор! Вот грудь моя, вот мое тело!

Народ всегда отвечал ему криками востор-

га, потому что Болемир еще никогда и ни разу не проявлял своей несправедливости перед народом. Между тем народ, имея перед глазами такие примеры, привыкал к постоянной справедливости и грозной суровости. Всегда разъединенные, занимавшиеся преимущественно торговлей венеды только в это время поняли, как может быть велик и ужасен народ, взращенный среди испытаний и гонений. Более чем триста тысяч семей поняли, что для такого народа не существует преград на земле и все мелкое, низкое всегда испуганно и подобострастно преклонит перед ним свою недостойную голову.

И эти триста тысяч семей, как один человек, приближались к берегам Днепра, чтобы создать там свое новое отечество под управлением грозного Болемира.

Все кыяне, от мала до велика, старики и жены, воины и смерды, юноши и девицы, вышли навстречу страшному победителю. Впереди, по обычаю, шел хор молодых пригожих девушек под длинными белыми покрывалами и, сверх того, под пологами, которые несли красивые женщины.

За девицами, с хлебом и солью на большом серебряном блюде греческой работы, с большой серебряной чарой хиосского вина, встретили Болемира старейшины города, седобородые и седоусые старики. [17]

Болемир, не слезая с коня, испил поднесенную ему чару вина, вкусил хлеба с солью и поехал в сопровождении своих витязей Киевом, к приготовленным для него хоромам. Народ все кричал ему «славу» и кидал под ноги его коня одежды, цветы и плоды...

В тот же самый день, к вечеру, близ Киева, на нагорной стороне расположился станом первый отряд переселенцев венецианских. До Киева доносились звуки труб, оружия и необычайный говор народный, а вечером по всему протяжению Борисфена запылали яркие костры и раздались звуки гуслей и литавр: венецы ликовали свое прибытие на излюбленные ими берега днепровские. С некоторым страхом и трепетом взирали кыяне на эти ярко пылающие костры пришельцев-спасителей и, в свою очередь, ликовали благое спасение от ненавистного им племени готского.

Всю ночь по водам Борисфена сновали ла-

дья кыянские, разукрашенные огнями, холстинами, дорогими парчами, и пелись громкие песни, восхвалявшие храбрость и непобедимость нового великого князя Болемира. В самом Киеве было не меньше ликование: старейшины повелели выкатить народу множество бочек старых медов, хороших браг, квасов, вынести жареных быков, баранов, кабанов, целые груды хлебов, каш, лепешек, других съедобных снастей, — и народ пил и ел во славу Перунову и во славу нового великого князя Болемира.

А Болемир уединился между тем в занятых им хоромах и, окруженный старейшинами, держал совет: как распределить переселенцев венедских.

После долгого совещания решено было разделить переселенцев еще на три части: одну двинуть к порогам днепровским, а две оставить в Киеве и окрестностях его.

Едва кончилось совещание, как в хоромы к Болемиру явились жрецы кыянские и просили в возблагодарение богов за столь радостное событие принести жертвы человеческие. Болемир изъявил свое согласие и обещал

быть на празднестве.

Жертвоприношение назначено было на утро следующего дня.

Глава IV

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ

Свежее и приятное утро глянуло на Киев после буйной ночи всеобщего пиршества. Следы пиршества еще не совсем изгладились: еще много ходило по Киеву хмельных голов, еще много оставалось недопитых медов, и кыяне допивали их, охмеляя себя и их сладостью, и сладостью гусярковых песен.

И в то время, когда стогны Киева еще оглашались веселыми голосами запоздалых любителей хмельных медов, один из возвышенных берегов Днепра оглашался совсем другого рода звуками — там воздвигался чудовищный костер из камня и дерева.

Костер этот воздвигался у подножия высокой, каменной, из серого гранита статуи Перуна, мечущего из правой руки гром и молнии в виде длинных крылатых стрел.

Сначала на пространстве одной квадрат-

ной сажени были положены в несколько рядов булыжные, обтесанные в квадрат камни. Вышина их простиралась до двух аршин.

На камни был положен невысокий сруб в один ряд из свежего соснового леса.

Возле сруба с восточной стороны был положен квадратный черный камень, камень — священный, жертвенный.

В сруб накидали множество сухого дерева, хвороста, каких-то символических, из дерева, изображений, и костер был готов.

Немного ранее полудня к костру направилась жертвенная процессия.

Впереди всех один кыянин вел белоснежного коня с длинной заплетенной гривой и хвостом и с раскрашенными копытами.

Конь этот был священное животное и содержался жрецами в священной роще. Там его кормили, холили, там он, устарев, околевал, там же его и погребали с особенным почетом и языческими обрядами.

Содержание священного коня составляло одну из важнейших обязанностей жрецов, и вместе с тем белый конь служил эмблемой их чистоты и власти. Особенно много хлопот до-

ставляло жрецам, в случае смерти коня, отыскивание такого же нового. В касте жрецов это отыскивание составляло целую эпоху. Когда конь находился, жрецы успокаивались, когда же его не было — прекращались все жертвоприношения, а поэтому жрецы перед народом теряли и свое значение, и свою силу на его духовный быт.

А между тем от коня требовалось очень немного. По его ржанию, к которому его возбуждали, узнавали, будет ли жертва угодна языческому богу или нет.

Выводимому из ржания коня предзнаменованию верил не только простой народ, но и люди высшего сословия. Они полагали, что белый конь, служа божеству, составляет и поверенного божества.

Никогда не случалось, чтобы жертва не была угодна богу, потому что всякое ржание коня жрецы ловко истолковывали в свою пользу.

За конем шли два жреца в белых балахонах с дубовыми венками на головах. Балахоны их были подпоясаны широким пурпуровым поясом. Каждый из них держал в руках

длинный жертвенный нож.

За жрецами шли обреченные на жертву: отрок и отроковица.

Несчастные были покрыты с головы до ног холщовым мешком.

Они не шли, а скорее были несомы: их вели и поддерживали четверо жреческих прислужников.

Вслед за обреченными, окруженный множеством венедов, ехал сам Болемир, виновник настоящего торжества.

Как-то тупо и странно смотрел он на всю эту торжественную процессию.

Напоминала ли она ему что-либо грустное или он, по обыкновению победителей и как новый могущественный царь славянский, считал для себя подобную жертву совершенно естественной и необходимой, только он не подавал ни малейшего признака участия к тому, что вокруг него происходит.

За Болемиром пешком и на конях тянулась громада венедов-победителей, а за ними — сотни кьян, одетых в самые разнообразные праздничные одежды.

Приблизившись к приготовленному кост-

ру, белый конь вдруг заиграл, начал весело подниматься на дыбы и заржал тем веселым, тем гордо-сознательным голосом, которым дикие свободные кони ржут, почуяв близость таких же, как и они, свободных и быстрых, как ветер, обитателей беспредельных зеленющих степей.

Вся толпа народа, двигавшаяся к костру, как один человек, издала крики радости, потому что она слышала явное предзнаменование, что предполагаемая жертва угодна Перуну и будет принята им с любовью.

Значение коня кончилось, и его снова повели в священную рощу, до нового требования.

Начиналось значение жрецов.

Подойдя к жертвенному камню, оба жреца пали пред ним ниц.

Полежав таким образом некоторое время, они встали и начали осенять камень какими-то таинственными знаками ножом и руками.

После этого к ним подвели отрока и отроковицу.

С них сняли мешки, и несчастные предста-

ли перед народом во всем ужасе ожидающей их участи.

Бледные, дрожащие, с дико блуждающими взорами, они, казалось, потеряли всякое сознание и походили на ягнят, в глазах которых режут их кормилицу-мать.

Затем в груды хвороста, который был накидан в середину костра, один из жрецов, шепча про себя молитву, кинул искру священного огня.

Огонь этот был принесен из священной рощи и получился от трения одного дерева о другое в священной же роще.

Костер быстро вспыхнул, а пламя сразу высоко поднялось к небесам.

Это было новым знаком того, что жертва угодна Перуну и будет им принята с любовью.

Далее следовала главная часть жертвоприношения — зарезывание обреченных.

Первым был зарезан отрок.

Он даже не вскрикнул, когда нож жреца коснулся его горла; тихо, как подкошенный колос, он упал на землю.

Жрец сейчас же обрубил у него руки, ноги и голову.

Сначала на костер была брошена голова, потом руки, а потом ноги.

Синеватым и смрадным пламенем вспыхнул костер, когда на него упало человеческое мясо.

С каждой минутой смрад становился сильнее и тяжелее, но народ, исполненный божественного настроения, казалось, не только с охотой, но даже с наслаждением вдыхал в себя этот отвратительный запах...

Вскоре огонь снова запылал яркими светлыми полосами, испуская легкий, синеватый дымок.

Очередь была за отроковицей.

С отроковицей не так легко было справиться.

Несчастливая девушка, полная, вероятно, надежд на жизнь и счастье, не хотела умирать за благо народное, которого она еще не понимала.

Она долго билась, стонала, кричала, молила о пощаде.

— Матушка! — кричала она. — Ратуй меня, бедную! Ратуй!..

В ответ ей в толпе народа, которая находи-

лась ближе к костру, раздалось дикое, неуправляемое рыдание, из которого тяжело и быстро вырывались болезненные, многострадальные слова:

— Дочь моя! Дочь!..

Народ молчал. В воздухе тоже была тишина невообразимая. Яркое летнее солнце высоко уже стояло на небе и благодатно освещало и весь Киев и всю эту громадную толпу народа, собравшуюся для бесчеловечного зрелища. Только один Днепр, на берегу которого происходила эта страшная, бесцельная картина, спокойно, точно с недовольством и озлоблением, плескался и урчал, неся свои возмущенные воды далеко-далеко от места безумного приношения. Зато истукан Перун, ярко освещаемый и лучами летнего солнца и пламенем разгоревшегося костра, стоял во всей величии языческого бога и как бы торжествовал свою языческую кровавую славу...

Жрец, издавна привыкший к подобного рода крикам и молениям обреченных, как кричала и молила отроковица, хотел уже занести над ней свой тяжелый жертвенный нож, как Болемир громко крикнул:

— Стой, жрец! Не режь ее!

Жрец поднял на Болемира свои удивленные глаза:

— Князь, так делать не подобает.

— Не режь! — повторил Болемир.

— Хотя мы все и славяне, но у каждого из нас служение свое. Вы служители Сивы, мы — Перуна. А наш Перун переступать его законы не повелевает.

— Не режь! — крикнул еще громче Болемир.

— Князь, так делать не подобает! — отвечал упорный жрец.

— Подобает, смерд негодный! — гаркнул уже Болемир и, выхватив из-за пояса топор, раздробил им голову жреца.

Жрец, глухо крякнув, всем своим толстым, отъевшимся телом грузно рухнул на землю, к подножию жертвенного камня, на котором он только что совершил мрачное богохульство.

Окружающая костер толпа ахнула в ужасе, и грозный Болемир показался ей еще грознее.

Отроковица была спасена.

А Болемир, спокойно поворотив своего ко-

ня, поехал от места отвратительного зрелища. За ним последовали и его верные венеды.

Расходясь, кыяне роптали:

— Он не верует в наших богов, он нехороший князь. Беда нам будет с таким князем.

— А коль беда, так что ж нам глядеть на него, как он убивает наших чтимых жрецов! Не дадим ему убивать наших чтимых жрецов! — советовала одна удалая голова.

— И то, не дадим! — подхватывали такие же удальцы. — Пришел невесть откуда, и бьет наших жрецов, и в бога нашего не верует. На что нам такой князь! Готы и те с нами так не делали! Они не рушили веры нашей. А этот пришел невесть откуда и тут свои порядки заводит! На что нам такой князь! Долой такого князя!

Более благоразумные усмиряли удалых:

— Полно, будет вам, ребятки! Как бы беды не вышло...

— Какая беда! Одну беду бедовать, другой не миновать!..

— Аль мы не кыяне? Аль уж мы только и годимся в челядинцы к готам да венедам! Да пущай они у нас челядинцами будут, а не мы

у них...

— Полно, будет вам, ребятки! Как бы беды не вышло...

Но чем более уговаривали удальцов, тем более они храбрились, кричали, махали руками и находили себе новых последователей.

Толпа их быстро увеличивалась, и они уже во всеуслышание заявляли свое недовольство новым князем:

— Долой Болемира! На что нам Болемир! Он безбожник! Не верует ни в каких богов!

К сумеркам толпа возмутителей страшно возросла.

Венеды сначала смотрели на все это, как на шуточную проделку кьян, смеялись, сами шутили, но когда увидели, что кьяне не на шутку поднимают против Болемира возмущение, сообщили ему о том.

Болемир и сам давно уже знал о происхождении, но он тоже относился к этому безучастно и равнодушно. Сознывая, что он действительно дерзко нарушил веру единокровного ему племени, он хотел дать кьянам некоторую свободу, чтобы они, пользуясь ей, излили на него свою горечь и простили ему

его поступок.

Но он ошибся в кыянах.

Торгуя с Ахаией и нередко посещая Византию, многие из кыян вынесли оттуда влияние фракийцев и римлян, которые в эту эпоху отличались особенным свободомыслием к правителям, которые им почему-либо не нравились, и буйными проявлениями своей народной силы.

В свою очередь, кыяне ошиблись в Болемире; не по их силам было бороться с таким князем, как он.

Вечером, когда уже весь Киев был возмущен против Болемира и возмутители, махая в воздухе оружием и зажженными смоляными палками, вызывали Болемира с его венедами на бой, Болемир выехал из занятых им хором и повелел, чтобы все еще стоявшая станом у Киева орда двинулась к городу.

Орда быстро появилась в городе. С появлением ее кыяне не успокоились, а еще более подняли вызывающий на бой крик и гам.

Тогда перед кыянами, посланный Болемиром, появился Данчул.

Данчул заговорил к народу:

— Меня послал князь сказать вам, чтобы вы мирно разошлись по домам и не кричали. Князь прощает вас.

— Не хотим Болемира! — гудела толпа. — Не надо нам Болемира! Долой такого князя!

— И такое ваше последнее слово? — улучив минуту, спросил Данчул.

— Последнее! Последнее! Долой князя! Долой Болемира!

Данчул затрубил в голосистую трубу. Из стана слышалась такая же труба.

Вскоре весь Киев огласился кликами боя, стонами, воплями, рыданиями. Как демоны носились обручники венецкие по стогнам Киева и истребляли все, что попадалось им под руки. Им повелено было истребить всех кыян без исключения. К утру некого уже было истреблять, и напрасно опьяненные кровью и усталостью венецы рыскали по домам, клетям и землянкам, отыскивая живых. Везде валялись одни трупы: трупы младенцев, матерей, жен, стариков, отроков, девиц. Там лежала целая груда отрубленных голов, там туловищ, там с изуродованной грудью, валялось тело молодой женщины, а рядом с ней,

рассеченный надвое, ее малютка, там целая хижина была набита обрывками человеческого мяса... А кровь? Кровь виднелась повсюду: в домах, на домах, на листьях, на траве, на одежде победителей и побежденных, везде, везде, и даже воздух был пропитан запахом одной крови. Трудно было дышать в этом воздухе, но победители дышали им. Дышал им и сам Болемир, виновник стольких несчастий, виновник стольких потоков крови.

Более сорока тысяч кыян погибло в одну ночь.

Объезжая город, тупо и безучастно смотрел на все происшедшее победитель.

Глава V

НОВЫЕ ХОРОМЫ

Под наружной оболочкой Болемирова спокойствия скрывалось, однако, что-то такое, что несколько тревожило его. Перед ним лежали уже не трупы врагов его родины, готы, а те же славяне, как и он и его венедаы, и кроме того: младенцы, жены, старцы.

Чем-то зловещим пахнул на него этот опустошенный славянский город, где он захотел создать великую столицу великого нового царства.

«Где же мое величие? — думал он. — И неужели оно в этом бесцельном истреблении и правого, и виновного? Да и на что мне оно, это величие? Да и для кого оно? Неужели для меня? Но я один, один, как вот это бездушное тело, кинутое кем-то без сожаления: некому пожалеть, некому помянуть добрым словом. Несчастный! А он жил, а он радовался, и кто же прекратил его жизнь, его радость?»

Болемиру страшно было сознаться, что он, один он, грозный повелитель новой, появив-

шейся у севера орды.

И тяжело ему стало дышать этим едким, пропитанным кровью воздухом, хотелось подышать чистым, свежим воздухом, хотелось подышать теми полями, лугами и лесами, которыми он дышал когда-то, в раннем детстве на берегах любимого Немана, широкого, величественного...

Почти бессознательно он куда-то повернул своего коня.

Умный конь давно уже фыркал и нередко, наострив уши и раздувая ноздри, отскакивал назад при виде какой-либо неожиданной ночной жертвы в виде обезображенного трупа человека или же целой груды трупов. Нехорошо было и ему, хотя и привыкшему уже не к одной битве, ступать на невинную кровь человеческую. Почувяв же, что седок, направляет его куда-то, он инстинктивно повернул к берегу Днепра, где чуялась ему свежая сочная трава и откуда несло ржание пасущихся табунов. Не ожидая воли хозяина, он резво направился туда, и вскоре Болемир очутился на каком-то высоком берегу Борисфена.

Берег был очень крутой: почти что отвесным, как стена, обрывом спускался он в воду, которая глубоко подмывала его и, делая быстрые, дробные круги, бежала далее. На самом берегу рос негустой, но многолетний дубняк. Болемир въехал в этот дубняк, и его сразу охватила чарующая прелесть дубняка. Там было тихо и спокойно. Остановив коня, он, помимо своей воли, загляделся на этих могучих патриархов природы, которые так много напоминали ему родимые берега Немана...

— Неман! Неман! — невольно прошептал Болемир.

В это время до его слуха донесся какой-то непонятный звук: не то плач, не то рыдание, не то песня...

Болемир прислушался. Насторожил уши и конь.

Звук послышался явственнее, и можно было разобрать, что кто-то над чем-то рыдает. Так как можно было определить место, откуда он исходит, то Болемир и направил туда своего коня.

Не успел он приблизиться к месту, откуда исходило рыдание, как почти у самых ног его

лошади послышался резкий крик женщины:

— Венед! Венед!

Болемир оглянулся.

В нескольких шагах от него, испуганная, дрожащая, стояла молодая девушка, почти обнаженная, с распущенными по плечам косами...

Болемир остановил коня.

Широко открыв глаза, девушка с ужасом смотрела на Болемира и делала руками какие-то причудливые знаки...

— Ты не бойся меня, — заговорил Болемир, — я тебе зла не сделаю.

— Венед! Венед! — закричала она снова, широко открывая рот.

Болемир стоял в недоумении. У него явилось неодолимое желание узнать, кто эта несчастная, и хотелось помочь ей. И странно, чем более он вглядывался в ее красивое, но безумное лицо, тем более ему казалось, что он как будто видел ее где-то.

— Ты меня не бойся, — заговорил Болемир снова, — я тебе зла не сделаю.

— И в жертву не принесешь? — спросила она, как бы успокоившись.

— Нет, нет! — торопился ответить Болемир и вспомнил, что эта несчастная была виновницей страшного истребления кыян.

Это была та самая отроковица, которую хотели принести в жертву и из-за которой Болемир раздробил голову жреца.

— И бить меня не будешь? — допрашивала девушка, не трогаясь, однако, с места.

— И бить не буду.

— И не зарежешь?

— И не зарежу.

— Ан, зарежешь! — как бы обрадовалась девушка тому, что может быть зарезана.

— За что ж мне тебя резать?

— А за то: ты венед. Ты вон всю кыянию вырезал за одну ночь.

Болемир помолчал.

— Зато я тебя спас.

— Ты? — вдруг дико взвизгнула девушка, потряхнув кудрями и мгновенно очутившись возле Болемира.

— Я, я.

Болемир слез с коня.

— Ты?! — повторила она свой вопрос.

И девушка, сказав это, схватила Болемира

за плечи и безумно уставилась своими глазами в его глаза.

Через несколько мгновений она уже лежала у ног Болемира и, обнимая его колени, молила:

— Ты, ты! Я узнала тебя! Возьми же меня к себе, спаситель мой, я твоей верной рабыней буду навеки!

Легче стало Болемиру...

Он поднял девушку и поглядел ей в глаза.

До сих пор как бы бесстыдная, безумная, она вдруг покраснела и склонила голову... Она была прекрасна в эту минуту... В груди Болемира как бы шевельнулось что-то...

— Приходи ко мне сегодня же, — сказал он ей ласково, — я тебя приму.

— После приду, — чуть слышно сказала девушка.

— Отчего же?

— Я... теперь... голая... — протянула она бо-язно...

Говоря с девушкой, Болемир совсем забыл, что она стояла перед ним, еле прикрытая какой-то небольшой холстиной. Быстро сняв с себя длинную и широкую бурку, украшенную

разного рода цветами, он накинул ее на плечи полуобнаженной девушки.

Девушка несколько оправилась и оживилась.

— Ладно, венед, я приду к тебе, коль повелишь мне прийти...

— Приходи, приходи...

Болемир сел на коня и уехал. Девушка долго провожала его взглядом.

Возвратясь в Киев, Болемир приказал быстро очистить город от трупов, покидав их в Днепр или зарыв в глубокие могилы.

Дня через два-три город был совершенно очищен от трупов, и жилища кьян были заняты семейными венедскими переселенцами, из которых одна часть под предводительством венеда Ахтыра была отправлена к верховьям Дона...

Впоследствии переселенцы эти, отданные Болемиром на собственную волю и вытеснившие селившихся с незапамятных времен по берегам рек Золотоноши и Гусиной агафирсов, назвали себя ахтырцами и занялись преимущественно скотоводством...

Не все, однако, венеды, оставшиеся для по-

селения в Киеве, поместились в домах и клетях кыян, для множества семей не хватило мест.

И вот вокруг Киева и окрестностей его, как грибы, начали вырастать землянки венедов, крытые землей и навозом, а в самом Киеве застучали топоры и молота, воздвигавшие новые брусяные клетки и избы с нахлобученными на них соломенными крышами, длинными полутемными дворами, с пузырями или налитыми маслом холстинами в окнах, с колодцами, скворечниками и скрипучими воротами.

И вскоре под руками венедов-переселенцев Киев совсем преобразился: много расширился и украсился, а окрестности, густо заселенные венедами-хлебопашцами, заперестрели широкими обработанными полями.

Вокруг же лучшей части Киева, с глубоким ровом и высоким валом, воздвигалась и деревянная стена, на случай нападения неприятеля.

На том же месте, где впоследствии находился весь Берестов, венеды начали воздвигать для своего князя чудо-хоромы[18].

Хоромы эти строились из векового тесаного дубняка, который покрывался блестящим светло-желтым составом и так хорошо скрадывал кладку брусьев, что хоромы казались выточенными из одного гигантского куска дерева. Кровля, в виде куполов, выкрашенных синей, зеленой и желтой красками, украшалась вышками, башнями, шести- и восьмиугольными, и преузорочными гирляндами, то длинными, то широкими, то узкими, в виде кружев[19].

Внутри хоромного двора находилось много еще и других зданий, медуш, бань, менее разукрашенных, но все-таки построенных по образцу хором и из такого же крепкого дубняка, так что хоромы, окруженные этими постройками, представляли целый стройный городок.

Так вообще строились и позднейшие русские цари.

Древний русский царский «двор» разделся на «дворцы», или малые «дворы», составлявшие отдельные помещения лиц семейства царского, с полным составом принадлежащих им дворян и хозяйственных заведе-

ний.

В новых хоромах немедленно же помещился князь Болемир.

Так как, по обычаю венедов, князь не имел права входить одиноким в новый дом, холостым ли, вдовым ли, то он и вошел в него с тремя женами и несколькими наложницами.

Одной из первых жен его была спасенная им от ножа жреческого отроковица-кыянка, а две другие были избраны им из числа девиц, пришедших с переселенцами.

Наложницы были набраны преимущественно из окрестных Киеву весей и поселений кутавских.

Вместе с Болемиром вошли в новые хоромы Данчул и малолетний князь Аттила. Для князя Рао, находившегося в бою, тоже была отведена часть хоромных построек.

Многочисленная дворня и челядь, для каждого из князей отдельно, заняла приготовленные для них помещения, и жизнь в новых хоромах пошла своим чередом, тем именно чередом, какому следовали князья славянской крови не только в III и IV столетиях, но и в столетиях далеко позднейших, уже освящен-

ных великим христианством, вплоть до XVII, когда он, этот черед, мгновенно исчез, заменившись новым, более блестящим, более подходящим к времени и его требованиям, чередом.

Глава VI

СИЛА ЦАРЕЙ КЫЯНСКИХ

Пока все это происходило на берегах Борисфена, вся Европа, от данного ей неожиданно толчка князьями Радогостом и Рао, все еще страшно волновалась, шумела, двигалась, искала спасения, ожидая с востока еще большего нашествия неведомых варваров.

Испуганный же римский император Валент I не нашел ничего лучшего, как послать в Дацию, к Рао, посольство для мирных переговоров.

Рао принял посольство и объявил, что оно должно отправиться в столицу его царя Болемира, в Киев на Борисфене.

Там, он говорил, Рим получит просимую милость, и посольство будет отпущено, как подобает то для покоренного народа.

Кичливые римляне волей-неволей должны были отправиться за Дунай вместе с Рао.

Радогост в это время был уже на пространстве нынешней Испании, на берегах Гвадалквивира, а часть его переселенцев села у истоков Эльбы, где навсегда и утвердилась [20].

Ущелья Пиренеев не помогли римлянам удержать движение венедов.

Венеды перебрались через горы, прошли победоносно вдоль и поперек полуострова, и не только не встретили в жителях сопротивления и враждебных чувств к себе, но напротив: варваров встречали повсюду с распротертыми объятиями, как избавителей от тяжкого ига римлян.

Очистив Испанию от войск римских и загнав их в Таррагонию, покорители разделили ее на три области: на Галицкую по реке Тур, на Лужицкую — между реками Тур и Тугой и, по названию римлян, на Вандалию.

В руках Рима оставалась только Таррагонская область. Границей были горы по правому берегу реки Эбро.

Таким образом, и Испания, бывшая богатой римской провинцией, очутилась в руках

славян, под именем Вандалии.

У Радогоста было два сына: Годорих и Гейзерих.

Годорих еще при отце в звании полководца начал покорение Африки.

Гейзерих впоследствии наследовал своему отцу и был одним из лучших друзей Восточного Славянского царства.

Рао между тем, оставив часть войск на границах Римской империи, в сопровождении посольства не замедлил явиться в новую столицу Болемирова царства.

Гордо и заносчиво принял Болемир первое посольство кичливой империи. Он под разными предложениями заставил посольство ждать несколько дней разрешения явиться перед его светлые очи.

Наконец посольство было допущено.

В блестящей одежде, с многочисленным придворным штатом, который также был одет в раззолоченные ткани, он встретил посольство в одной из комнат своих дубовых хором.

Сверх всякого ожидания посольство увидело совсем не тех людей, о которых оно состав-

вило себе понятие. Благородные римляне, составлявшие посольство, думали встретить грубую толпу дикарей, одетую в звериные шкуры, с таковым же их предводителем. Вместо страшных, исковерканных, по слухам, лиц они увидели бодрые, красивые лица северных славян.

Прежде всего посольство предложило Болемиру целую грудку всякого рода подарков, состоявших из стручкового перца, тканей, золота. В числе подарков посольство привезло также испанской породы вороного коня и молодого горного орленка.

Благосклонно приняв от посольства подарки, Болемир спросил о цели посольства.

— Много лет, — говорили послы, — народ твой, великий славянский князь, жил мирно и спокойно, как подобает всякому великому народу, зачем же теперь он опустошает римские области и города в Дации?

Обещая впредь воздерживаться от нападений, по условию ежегодной уплаты ему 350 фунтов золота, Болемир отвечал, что его народ по множеству причин неожиданных должен был неизбежно поднять войну.

Тем первое посольство и окончилось, и так была наложена славянами первая дань на величественную Римскую империю.

Одаренное, в свою очередь, Болемиром посольство, заключив условие, отправилось обратно в Рим, чтобы успокоить взволновавшуюся империю.

По случаю такого события Киев несколько дней предавался празднеству.

По окончании празднеств князь Рао снова отправился в поход.

Но теперь путь его лежал уже не на запад, а на юг, на Херсонесский полуостров, где еще немало оставалось ненавистных славянам готов, селившихся в тамошних горах.

Болемир опять остался один в Киеве, и, в то время как весь запад дрожал при одном его имени, он уже дряхлел и слабел.

Невзирая на свои еще не старые годы и на свою телесную крепость, события двух последних лет, следовавшие друг за другом в роковом порядке, оставили на нем свои неизгладимые следы, и он, видимо, начал хиреть и приближаться к могиле.

Так прошло пять лет.

В эти пять лет царство Болемира расширилось еще более.

Царство его уже обнимало весь север и недра Европы и ограничивалось с юга Альпами, Балканами и Черным морем.

С каждым годом неустрашимый Рао приносил ему и новую часть земли, и новых данников...

В 382 году грозного Болемира не стало...

Не имея прямых наследников, он завещал свое могущественное царство князю Данчулу, с тем чтобы, по смерти Данчула, обойдя его детей, царство перешло в руки его брата, князя Рао, а потом князя Аттилы. Только в случае смерти Рао и Аттилы дети Данчула могли наследовать созданное Болемиром царство.

Сжегши тело Болемира и совершивши с плачем и рыданием над его прахом великую тризну, Данчул вступил в управление новым царством. Явившийся из Херсонеса Рао, свято повинувшись воле Болемира, уступил брату престол кыянский и снова отправился покорять — царей и народов кавказских...

Данчул царствовал 30 лет.

Он умер в 412 году, коварно убитый под-

купленным греком.

Царствование Данчула было мирно и спокойно. Римская империя продолжала платить условленную дань.

Рао, заняв по смерти брата престол кыянский, прежде всего вознамерился отомстить грекам за смерть Данчула.

Собрав многочисленное войско, Рао двинулся во Фракию, разбил несколько раз войска императора Феодосия и грозил уже Константинополю, но верховный совет Византии предупредил разрушение столицы, обязавшись платить Рао ежегодно дань в 700 фунтов золота.

В 438 году греки, однако, нарушили договор. Престарелый Рао снова двинулся на Фракию, но почти у стен самого Константинополя был убит громовым ударом.

Таким образом, Рао процарствовал 26 лет.

Согласно завещанию Болемира, которое свято чтилось новой династией царей славянских, престол кыянский наследовал в это время уже престарелый Атила и немедленно же отправился из Киева в Византию, чтобы продолжать начатую князем Рао войну.

Там встретили его вновь избранные советом послы: Плинф и Дионисий, родом греки, для обычного поздравления и заключения новых договоров.

Атила согласился на мир, и условия договора были следующие:

«I. Всех гуннских перебежчиков, не исключая и тех, которые давно уже бежали, возвратить.

II. За пленных греков, которые ушли без выкупа, внести по восьми золотых с человека.

III. Греки да не вступают в союз ни с одним народом, с которым гунны будут в неприязненных отношениях.

IV. Народные торжества[21] исправлять грекам и гуннам на равных узаконенных правах и со взаимным обеспечением.

V. Свято и нерушимо исполнять условие ежегодной дани в 700 фунтов золота, которые греки обязались платить царям гуннским».

Переметчики, или беглецы, из земель славянских в Римскую империю были всегда одной из главных причин войны славян даже и последующих веков с западными державами.

Это видно из договоров Олега и Игоря, где также возврат «ускоков» и выкуп их составляет первую статью; причем «не обретение» их в Греции подтверждалось клятвой: «аще ли не обрящется, да на роту идут и ваши хрестьяне, а Русь и не хрестьяне, по закону своему, и тогда взимают от вас цену свою, яко же уставлена есть прежде: две поволоки за челядина».

Нет сомнения, что в то время большая часть переметчиков состояла из челядинов, то есть подвластных гуннам готов, или из лиц, обращавшихся в христианство.

Все пункты договора греки исполнили, за исключением одного — не возвратили переметчиков, что и составляло всю суть договора.

Аттила снова грозил поднять войну с Феодосием.

Посол Аттилы, Борич, явился в Константинополь с требованием возврата беглецов и для нового договора и условий дани.

Прочитав письмо Аттилы, затронутый император отвечал, что переметчиков не отдаст, но готов прислать посольство, чтобы миролюбиво уладить насчет всех прочих требований.

Получив такой ответ Феодосия, Атилла вступил во владения греков, находившихся на берегах Черного моря.

Феодосий вздумал помериться силами с новым царем кыянским, но сражение при Херсонесе[22] решило дело, а новые условия мира были следующие:

«I. Переметчиков возвратить.

II. Внести единовременно дани 6000 фунтов золота.

III. Ежегодно вносить 2100 фунтов золота.

IV. За греческих пленных платить выкуп по 12 золотых с каждого.

V. Не давать убежища беглецам, подданным царя гуннов».

Как ни тяжелы были подобные условия мира, но Феодосий волей-неволей должен был на них согласиться.

Атилла победоносно возвратился из Херсонеса в столицу своего царства Киев.

Глава VII

ДВА ОРЛА

Семидесятилетним старцем вступил Аттила на престол кыянский.

Много воды утекло и много лет пронеслось над головой его с тех пор, как он вступил в Киев десятилетним отроком... Много перед его глазами пронеслось событий, и грозных и мирных, и каждое из них непременно оставило в груди его неизгладимое пятно. Задумчивый, страшно впечатлительный, он ко всему присматривался, во все вникал. Тем более ему было удобно поступать таким образом, что о нем, казалось, все забыли. Ему даже ни разу не было поручено управление войском.

Запершись в своих хоромах, он по целым дням сидел за столом, впериw глаза в одну какую-нибудь точку, или тихо разговаривал со своим любимцем — орлом, которого он получил в подарок от Болемира во время первого римского посольства. Орел, такой же старый, как и Аттила, сумрачно выслушивал речи своего мрачного властелина и, казалось, ино-

гда понимал их, потому что зорко смотрел на него и тихо встряхивал крыльями.

— Орел мой, орел! — говорил Аттила. — Когда мы с тобой, скажи, поднимемся в тучи небесные и кинем оттуда на народы ядовитые смертоносные стрелы свои?

Молчал орел, но, глядя на Аттилу, будто отвечал ему:

— Скоро, скоро...

Аттила понимал его ответ и довольный им ласково гладил его под шейей и расправлял ему крылья.

Темно-бурый сын гор и лесов горичанских [23], в свою очередь, начинал ласкаться к своему властелину: широко встряхивал крыльями и негромко вскрикивал.

Аттила никогда не расставался с любимцем своим: куда бы Аттила ни шел, где бы он ни был, орел везле сопровождал его, то сидя на его левом плече, то невысоко летая над ним.

Кыяне с тайным страхом взирали на Аттилу и его орла и говорили про себя:

— Старый князь — не простой человек, ему и птица покорствуется!..

В самом деле, появляясь иногда среди кыян со своим орлом, Аттила казался каким-то зловещим посланцем языческих богов. Суровый, мрачный, с вечно глядящими в землю очами, он тихо шел посреди толпы и не говорил ни слова.

Одним из любимых занятий Аттилы была охота: на охоте он нередко проводил целые месяцы. Сев на коня, он брал острый топор, груды стрел, своего любимца орла и уезжал в дебри кривичские. Там он охотился один.

Возвращаясь с охоты, он привозил груды звериных шкур и опять надолго запирался в своих хоробах, куда к нему никто не входил, кроме младшего сына Ирнака, которого он особенно любил.

Кроме Ирнака, у Аттилы был еще старший сын — Данчич и средний — Гезерик.

Семьдесят лет нисколько не мешали Аттиле быть весьма бодрым и здоровым мужчиной.

Стан он имел средний, грудь широкую, голове большую, глаза у него были малы, борода редка, седые волосы жестки, нос вздернутый, лицо было несколько смугловато.

В первый же день вступления Аттилы на престол кыянский было несколько предзнаменований о грозном и славном царствовании его. В ту минуту, когда Аттила, подняв кверху меч, давал клятву народу быть справедливым защитником старого и малого, вдруг поднялась необыкновенная буря, сверкнула блесковица, грянул гром, и статуя Перуна, стоявшая на берегу Днепра, была разбита вдребезги.

К вечеру, когда гроза прошла, на небе появился большой огненный шар, который пошел на запад и скрылся там.

Народ смотрел на небо, пугался и говорил: — О, кровав будет путь нашего царя!

На другой день один пастух, находясь на пастбище, заметил на траве кровь. Он пошел по следу и увидел, что из земли торчит меч, на который споткнулся бык. Меч этот пастух представил Аттиле.

Взглянув на меч, Аттила радостно сверкнул глазами и сказал:

— Во знамение побед небо дало мне в наследие этот священный меч Арея[24]. Меч этот должен уважаться кыянскими царями,

как посвященный богу войны. В древние времена он исчез, а вот ныне снова обретен туrom!

Аттила вовсе не был суеверен. Он был человек умный и умел пользоваться обстоятельствами. Видя, что народ верит предзнаменованиям, он старался поддерживать его веру в этом отношении. Никаких мечей, кроме меча в своей руке, он не признавал; однако, как дальновидный политик, он пустил в ход легенду о славном мече Арея, которым он победит вселенную.

Свободу в своей обширной стране Аттила допускал полную: всякий жил, как хотел, селлся, где хотел, свято соблюдая при этом повиновение существовавшим обычаям.

Особенной свободой в царстве его пользовались еще женщины. Гуннянка отдавалась кому хотела и сама себе выбирала мужа на играх и других празднествах народа, которые и устраивались, собственно, с этой целью.

Где-нибудь за городом, в роще, в теплый вечер раскладывалось множество костров, приносились меды, закуски, собирались молодые люди молодые девушки, и начинались

игры.

Полуобнаженные парни ловили полуобнаженных молодых девушек, и если пойманная парнем девушка находила парня любимым для себя, то уж более не убегала от него, а взяв его за руку, вела в какой-нибудь далекий уголок рощи, где и объяснялось все, что надо.

Объяснение происходило в таком роде.

Девушка, в большинстве случаев, не зная, кого она «поважала», спрашивала:

— Кто ты, молодец?

Молодец удовлетворял любопытство своей избранницы: объявлял, какого он роду, где живет, что имеет, кто такие его отец, мать, сестры, братья.

— А ты поважаешь меня? — спрашивала девушка.

— Кабы не поважал, не ловил бы!

— А может, ты ловил зря!

— Зачем же зря.

— А коль не зря, так скажи, за что ты поважил меня перед другими девоньками?

— А за то: ты пригожая.

— Приглядишься... может, и не пригожая.

— Пригляделся уж.

— А еще за что?

Если парень знал девушку раньше, то объяснял ей «за что еще»; если же нет, то обыкновенно заминался, и девушка должна была уже рассказывать о своей нравственной стороне.

В последнем случае девушка рассказывала:

— Ты гляди, парень, я девонька злая, ничего, что такая пригожая, гляди, чтоб тебе после не пришлось плакаться на меня. Лучше уж теперь отказывайся, а после будет поздно.

Случалось так, что тут уж было поздно отказываться.

Возвратившись к кострам, молодые объявляли о своем соединении.

Их встречали криками одобрения и обливали головы их медом. Кроме того, молодой обязан был перепрыгнуть несколько раз через горящий костер.

Тем выбор невесты и оканчивался.

Относительно религии в царстве Атилы тоже допускалась полная свобода: среди гуннов, язычников, было множество и христиан, которые беспрепятственно совершали везде и

всегда свои обряды. Нередко случалось, что и сами гунны переходили в христианство.[25]

Только для самого царя, по-видимому, не существовало никакой религии. Семидесятилетний царь с одинаковым равнодушием смотрел и на обряды язычества и на обряды христианства. Все его мысли, все его желания стремились к одному: ему нужна была война, война и война, и он искал поводов к войне, грозно кичась званием царя, царя всей вселенной.

При всяком удобном случае он восклицал:

— Я бич Божий и молот вселенной! Звезды небесные падают и земля трещит от одного взора моего!

Подвластные Аттиле народы любили его, как отца, и уважали, как некое божество, благодетельное для них, ужасное для врагов, неумолимое для всех, преступивших его волю. Отдаленные племена считали его чародеем. Всю добычу он отдавал своим воинам и довольствовался одной властью над ними. Называясь царем царей, повелевая многочисленными племенами, занимая обширные страны и будучи в состоянии избрать любой

город на Дунае, Висле и Эльбе для своего местопребывания, Аттила любил один свой некрасивый, но обширный Киев, куда уже, заслышав о привольной жизни, собирались выходцы со всех сторон Европы, поступали в отряды царя гуннского и оставались всем довольны. Даже некоторые из благородных римлян покинули свою развращенную родину и предпочли ей далекие берега Борисфена. Одними из таковых были: благородный римлянин Орест[26], которого Аттила держал для ведения переговоров, отец его, Татулл, Констанций и др. Но у Аттилы были и свои хорошие воеводы: Скотан, Ислав, Борич, Онигис и Годичан. Они обладали обширными землями, богатствами, жили в красивых дубовых хоромах и верно служили своему мрачному повелителю, который позволял им роскошничать, сколько им угодно.

Громадные богатства, в золоте, серебре, драгоценных камнях, тканях, со всех сторон стекались в Киев.

И что же?

Властелин всего этого, могущий усыпать себя с головы до ног драгоценными камнями-

ми, носил простую, широкую бурку из беловатого сукна, шерстяные шаровары, высокие башмаки из невыделанной кожи, рысью шапку и при бедре широкий меч. Вот все его украшение, в котором он появлялся и на пирах, и на войне, и перед всеми посольствами, являвшимися к нему в Киев, и на поле брани. Так же была проста и его трапеза: он ел из деревянных чаш деревянной ложкой мясное горячее блюдо, и больше ничего. Изредка только он позволял себе пить вино, но вообще вел жизнь замечательно умеренную.

Лучшим любимцем его по-прежнему оставался орел.

Опочив от дел, он по-прежнему вел со своим любимцем странную беседу:

— Что, мой орел, велики мы с тобой?

Орел махал крыльями и как бы кричал:

— Велики! Велики! О, велики!

— Да, велики! — договаривал Аттила. — Но мало мне земли, орел мой! Я хотел бы, как ты, подниматься к небесам, и оттуда уже, с огнем и треском, изрыгать на землю громы небесные, чтобы истребить весь подлый и грязный род человеческий!..

— За что? — точно бы спрашивал орел, вперив на властелина свои пытливые, хищные глаза.

Властелин молчал... А иногда сейчас же захлопает в ладоши... У дверей появлялся верный раб.

— Жен, гуслей, медов! — повелевал Аттила.

Появлялись жены, гусли, меды, и начиналась буйная пирушка, в которой, однако, Аттила не принимал никакого участия. С орлом на плече, он сидел молчаливо и даже не глядел на пир, сидел и только слушал, пока ему все это не надоедало...

Орел и ночью не покидал Аттилы: он садился у его изголовья и дремал...

Так жили, не покидая друг друга, эти царственные существа, оба смелые, оба достойные; жили, охраняя друг друга, жили, любя друг друга...

Часть третья СМЕРТЬ АТТИЛЫ

Глава I ВИЗАНТИЙСКИЙ ЗАГОВОР

Глубоко оскорбленный унижительным для себя договором с Атиллой, восточный император Феодосий II, в свою очередь, искал случая унизить или даже погубить Атиллу.

Но с Атиллой не так легко было справиться, особенно еще такому императору, как был Феодосий.

Подобно большей части византийских императоров, Феодосий был слепым орудием женщин, придворных и проводил все свое время в удовольствиях и набожных обрядах. В продолжение краткого своего царствования он находился под опекою префекта Анфимия, искусно управлявшего государством. Потом преобладающим на него влиянием пользовались сначала сестра его, Пульхерия, а за нею супруга его, Евдокия, ученая, образованная афинянка, отличавшаяся своею страстью к

пышности и внешним благочестием.

Тем не менее Феодосий, слабый, легкомысленный, не терял надежды найти случай отомстить Аттиле и, подобно всем боязливым натурам, хотел сделать это тайно, посредством подкупа.

Вскоре подобный случай ему представился.

В Константинополь и Равенну Аттила отправил послов с требованием, ради глумления над Феодосием и Валентинианом, чтобы они для него, их властелина, в случае, если ему вздумается побывать в Равенне и Константинополе, приготовили роскошные дворцы.

В Равенну было отправлено посольство из готского племени. В Константинополь любимец Аттилы — Годичан.

Феодосий, по совету евнуха своего Хрисафия, вздумал воспользоваться приездом Годичана, который привез еще и новые, постыдные для императора, требования. Вместе с Годичаном прибыл в Византию Орест и еще несколько воевод Аттилова двора.

Это было в 447 году.

В этом году, недовольный возвратом переметчиков, Аттила сразу двинул свои войска на Грецию и в несколько дней покорил города по Дунаю, область Сирмию, Ниссу и Мардику.

Испуганный император хотел послать к Аттиле посольство, чтобы умилоствить его, но Аттила предупредил императора, прислав к нему свое посольство.

Император отвел для посольства лучшую часть своего дворца.

В первый же день приезда Феодосий принял Годичана.

Когда Годичан вошел к императору, который, окруженный своими придворными, сидел на обычном своем месте, император тотчас же встал перед послом великого царя и, в знак покорности, слегка склонил свою голову.

Придворные последовали примеру императора. Одна только супруга Феодосия, Евдокия, находившаяся возле императора, презрительно окинула взглядом посла и не подала ни малейшего признака уважения к царскому послу.

Посол это заметил.

Годичан, подобно своему властелину, был избалован всеобщим уважением и почетом. Поэтому он несколько оскорбился поступком императрицы и, в свою очередь, захотел ей отплатить тем же. Он и начал с того.

— Я посол великого царя, — заговорил Годичан, — ты — император, к которому я послан для переговоров. Стало быть, мы с тобой и должны речь вести. Но зачем же тут женщина?

Феодосий несколько растерялся от такого вступления посла и постарался объяснить:

— Посол царя великого, это моя супруга, императрица.

Императрица чувствовала себя неловко, двигалась на седалище и ворчала:

— Варвар! Варвар!

— Пусть и супруга, мне все равно. Но я при женщине речь вести не стану.

Феодосий умоляющим взглядом посмотрел на Евдокию. Евдокия поняла его взгляд, презрительно улыбнулась и торжественно вышла.

— Ну вот, теперь другое дело, — сказал Годичан, — теперь я могу с тобой речь вести, —

и он сел на приготовленное для него место.

Феодосий тоже сел.

Орест поместился за седалищем Годичана. Сев, Феодосий прежде всего справился о здоровье великого царя.

— Здоров ли великий царь и его семья? — спросил он.

— Царь здоров, — отвечал Годичан, — здорова также и его семья. Великий царь и тебе желает здоровья.

— Благодарю, благодарю за внимание ко мне великого царя.

После этого Орест подошел к Феодосию и вручил ему письмо Аттилы, в котором заключались условия мира.

Феодосий передал письмо переводчику Вигиле, который громко прочел его.

«Царь Аттила, повелевающий восточными и западными народами, предлагает побежденной Византии такие условия:

I. Не возвращенных еще переметчиков немедленно возвратить.

II. Греки очистят, под опасением возобновления войны, все покоренные оружием царя Аттилы земли, простира-

ющиеся по течению Истра от областей Пеонии по протяжению областей Фракийских в длину и на пять дней пути в ширину.

III. Бывшее издревле торжище на берегу дунайском перенесется на новую границу, в Ниссу.

IV. Впредь послы от императора к царю Аттиле должны быть не из разночинцев, но знаменитые мужи по роду и консульского сана».

Условиями этими самолюбие Феодосия было затронуто окончательно.

Феодосий встал и, весь дрожа от бессильной злости, только и мог проговорить:

— Хорошо, я пошлю к великому царю достойное посольство.

Годичан, в знак согласия, кивнул головой.

Никогда ничего подобного не видел двор византийский. Послы царя Аттилы вели себя с императором не только как равные ему, но даже как бы повелевали им. Жалкий Феодосий, несмотря на все усилия, никак не мог возвыситься до почтения к себе Аттиловых послов. Маленькая, тщедушная фигурка его с несколько опухшим, бритым лицом, с влаж-

ными глазками никак не подходила к царственной особе. Даже драгоценная, пурпуровая, вышитая золотом, тирская тога[27] не придавала ему никакой величавости. ВзроЩенец толпы византийских красавиц и всегда вращавшийся между ними, Феодосий был и кокетлив, как женщина. Особенное кокетство его заключалось в обуви. Он носил замечательно красивые башмаки, унизанные драгоценными камнями, которые и старался выказывать при всяком удобном и неудобном случае. Но на маленькую императорскую ножку редко кто обращал внимание, разумеется, исключая его любимцев, что императора необыкновенно волновало и сердило.

Резкий контраст составлял с Феодосием посол Аттилы.

Рослый, стройный, с окладистой русой бородой, подстриженной в кружок, в коротком, опущенном соболе, парчовом кафтане, которые по стану перехвачен был алым кушаком, Годичан являлся перед двором византийского императора олицетворением физической и нравственной силы.

После вступительного приема посла вели-

кого царя гуннского Феодосий раскланялся с Годичаном и Орестом и попросил их отдохнуть с дороги, обещая, что они не будут им забыты, как послы великого царя. Это было напоминанием о том, что он хорошо одарит их подарками.

Посольские подарки имели в то время довольно важное значение, и послы судили по подаркам о степени величия и значении того, к кому они посылались. Секрет подарков заключался не в ценности их, а во вкусе. Надо было сделать послам такие подарки, которые бы пришлись им по нраву. Насколько послы восточных владык были в этом отношении не требовательны, видно из того, что они нередко в первое время довольствовались, как подарком, одним только стручковым перцем, особенной породы луком и чесноком, которых не производила их земля. Разумеется, этого нельзя сказать про время более позднейшее, когда славяне, знакомясь все более и более с западом, постигли настоящую суть золота и драгоценных тканей. При Атилле зачастую послы даже и отправлялись к иностранным державам для того только, чтобы полу-

чить хорошие подарки.

Презирая сам лично золото, ткани и драгоценные камни, Атилла, однако, придворным своим давал полную свободу роскошничать как им угодно: позволял носить одежды, вышитые золотом, украшать сбрую своих коней серебром и кистями, заводить в доме золотую и серебряную посуду[28] и т. п. Роскошь при Аттиле дошла до того, что не только приближенные его, воеводы, полководцы, но даже и простые воины, разумеется более достаточные, носили дорогие кафтаны и полукафтаны из шелковой материи и украшали сбрую коней серебром и золотом.

Как великий, гениальный человек, Атилла очень хорошо понимал, что он велик величием своих воинов, и поэтому всегда старался обогащать их, в некотором роде даже поощрял их слабости.

А сам Атилла среди них был велик и недосягаем и в своей простой шерстяной бурке.

Атилла даже как бы рисовался простотою своей жизни.

Действительно, контраст был поразительный: придворные и воины в серебре, золоте,

каменьях, а властелин, их властелин, перед которым дрожали две великие империи, перед которым каждый из его воевод был ничтожнее песчинки незаметной, — в грубой, серой бурке, ничем не украшенной, и в простой холщовой рубахе!

Оставив императора, послы, Орест и Годичан, отправились в отведенные им роскошные покои дворца византийских императоров.

Взбешенный требованием Атиллы, Феодосий положительно не знал, что предпринять, чтобы хоть несколько умерить требования победителя.

Окружавшие его придворные стояли в недоумении.

Наконец Феодосий встал и дал знак, чтобы его оставили одного.

Придворные, один по одному, вышли из посольского покоя императора, тихо перешептываясь между собою о предстоящей придворной грозе.

Оставшись один, Феодосий в раздумье быстро начал ходить из угла в угол, потом подошел к столу и ударил небольшой пальмо-

вой палочкой по серебряной дощечке, которая висела между двух мраморных столбиков.

Приятный звон серебра раздался в посольском покое и быстро смолк.

На звон вошел евнух Хрисафий и почтительно остановился у дверей.

Некоторое время Феодосий не замечал вошедшего любимца, потом, увидав, быстро подошел к нему, положил руку на его плечо и проговорил:

— Ты прав, Хрисафий: поступить иначе я не могу. С этим согласна и Евдокия. Я ей уже передал о твоём совете. Согласна также и сестра моя, Пульхерия, и Марциалий.

Хрисафий склонил голову и поцеловал лежащую на его плече руку.

— Прав, прав! — продолжал Феодосий. — Но как же это сделать? Я, признаюсь, не знаю.

— Повели мне, властелин, поступить так, как я найду лучшим, — ответил Хрисафий каким-то полумужским, полуженским голосом.

Феодосий помолчал и потом спросил:

— И ты, Хрисафий, надеешься?

— Властелин, — отвечал Хрисафий, — не в

нашей власти исполнить то, что хотелось исполнить. Но, как верный раб твой, я приму все меры, чтобы замысел нам удался.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал в раздумье Феодосий, — я тебе верю, много верю, и думаю, что ты поможешь мне. Ступай, делай то, что тебе угодно. Только, пожалуйста, прошу тебя, не беспокой меня: я так утомлен, так расстроен этим варварским посольством, что готов слечь в постель.

Поклонившись и поцеловав руку у Феодосия, Хрисафий вышел и тотчас же отправился в покой к Годичану. Но так как он не знал славянского языка, то взял с собой переводчика, Вигилу.

Хрисафий с Вигилою вошли к Годичану как нельзя более кстати.

Годичан ходил и с любопытством осматривал стены, на которых искусной рукой были написаны картины из греческой мифологии.

— Посол великого царя, — заговорил через переводчика Хрисафий, — не хочет ли осмотреть и другие покои императорского дворца?

Годичан изъявил свое согласие.

Они пошли осматривать императорский

дворец.

Дворец действительно представлял много чудесного и восхитительного. В нем было собрано все, что только создало дивного и роскошного человечество той эпохи. Каждый из народов внес во дворец какое-либо свое диво, величие, красоту, прелесть, очарование. Рим внес туда свои соблазнительные термы, с ваннами, каскадами, бассейнами, цветными гирляндами и благовониями. Аравия — свои пушистые ковры, шелки, прозрачные ткани, роскошные седалища и ложа. Север принес туда целые груды бледно-желтых янтарей. Индия — драгоценные камни, прихотливые раковины, деревья и цветы. Сама Греция — украсила их роскошными колоннадами, картинами и статуями. Это было диво своего века, диво века, когда человек весь свой ум, все свое знание, свой гений вкладывал в создаваемые им громады: дворцы, мосты, сады, каналы и пирамиды.

И до сих пор западная Европа, Африка, Аравия, Персия и Индия полны этими величественными развалинами.

Годичан, никогда не видавший подобных

див, приходил на каждом шагу в неописанное восхищение и расспрашивал Хрисафия, как и откуда все это взято, когда и кем сделано, много ли стоило.

Хрисафий через Вигилу удовлетворял его любопытство и вместе с тем прибавлял:

— Все это очень легко приобрести, стоит только захотеть.

Сначала Годичан не обращал на эту прибавку внимания, наконец частое повторение ее показалось ему несколько странным, и он через переводчика спросил у Хрисафия:

— Как так легко?

— Очень легко, — отвечал Хрисафий.

— А как? — спросил Годичан.

— А так: и посла ожидает подобное же богатство, если он перейдет к византийцам.

Годичан на это возразил:

— Слуге и подданному, имеющему свое отечество, этого сделать непристойно.

— А имеет ли посол, — спросил Хрисафий, — легкий доступ к царю и какой чин занимает?

— Чин на мне воеводский, — отвечал Годичан, — я вхож к своему царю и начальствую

его телохранителями вместе с другими воеводами, которые, по определенным дням, вооруженные, исправляют эту службу при своем царе.

После этого Хрисафий намекнул Годичану, что может доставить ему величайшее счастье и почести и изъявил желание поговорить с ним откровенно.

Годичан согласился выслушать его.

Тогда Хрисафий через Вигилу поклялся Годичану в том, что будет говорить о деле для него полезном, и требовал взаимной клятвы в том, что Годичан не разгласит вверенной ему тайны, если и не согласится на предложение.

Годичан поклялся по своему славянскому обычаю.

Тогда Хрисафий сказал Годичану, что если он, возвратясь к своему двору, умертвит царя и перейдет к византийцам, то будет принят с великими почестями и будет жить в великом богатстве и счастья между ними.

Хитрый Годичан притворно согласился, прибавив, однако, что ему нужны деньги, по крайней мере, пятьдесят фунтов золота.

Хрисафий тотчас же бросился было за деньгами, но Годичан остановил его, сказав, что прежде ему надо возвратиться к царю с ответом императора и взять с собою Вигилу, толмача, которого он, если нужда потребует, отправит в Византию за условленными деньгами; что теперь принять их не может, потому что нельзя скрыть их ни от своих чиновников посольства, ни от самого царя, который непременно спросит, от кого и сколько он, Годичан, получил подарков в Византии.

Хрисафий, признав доводы Годичана справедливыми, согласился на исполнение его мнения и, почтительно проводив его в назначенный покой, уведомил немедленно Феодосия об удачном окончании дела.

Феодосий выслушал Хрисафия с удовольствием, а потом, посоветовавшись с придворным Марциалом, свидетелем всех тайн двора, решил отправить к царю Аттиле Вигилу, соучастника замысла, и Максимиана, вельможу, не знавшего об этом ничего, для прикрытия заговорщиков, чрезвычайным посланником по делу о мирном договоре.

Когда после свидания с Хрисафием Годичан вошел в отведенную для него палату дворца, палата показалась ему несколько изменившеюся. Стены и картины, правда, оставались те же, но откуда-то появились не стоявшие там прежде, широкие и мягкие сидалища, необыкновенно роскошное ложе, по углам — высокие курильницы, на полу — драгоценные ковры, а окна, задернутые очень прозрачной шелковой материей, выходили прямо на небольшое, уложенное по берегам белым мрамором, озеро. Годичан невольно залюбовался на это прекрасное водное пространство, и когда он, глядя на него, раздумывал о предательском и дерзком предложении Хрисафия, взор его вдруг остановился на медленно двигавшейся по озеру ладье. Ладья была устроена в виде огромной раковины с парусами из пурпурового шелка, которые дивно гармонировали с самою ладьей, раскрашенной в бледно-розовый цвет. Невзирая на то что ладья двигалась, она все-таки, как бы с намерением, не скрывалась из глаз Годичана и как бы стояла на одном месте. Сначала Годичану показалось, что в ладье никого не бы-

ло, но потом, всматриваясь хорошенько, он увидел в ней что-то такое, что заставило его сначала удивиться, а потом с любопытством вперить глаза свои в самую глубину ладьи-раковины. В раковине полулежала необыкновенной красоты женщина, которая почти что была обнажена и пересыпала в руках крупные жемчужины.

День уже склонялся к вечеру, и лучи заходящего солнца, скользя по темно-голубой поверхности озера, как-то странно и вместе с тем очаровательно освещали ее в бледно-розовой раковине...

Здоровый и молодой Годичан слегка вздрогнул: по его телу пробежала та обольстительно-опьяняющая дрожь, которая охватывает человека при виде чего-либо чарующего и действующего на воображение... Годичан еще более впился глазами в ладью-раковину, которая, как бы предугадав его желание, медленно начала приближаться к мраморному берегу озера, но вдруг остановилась у берега, а через несколько мгновений скользнула в сторону и исчезла за какой-то полувоздушной колоннадой.

В это же время на ступенях набережной, которые уходили в самую глубину прозрачных вод озера, мгновенно появилось несколько обнаженных прелестниц, которые, с раскиданными по плечам кудрями, шая и играя, начали одна за другой погружаться в воду.

Годичан устыдился такой картины, отшатнулся от окна и, странно, вдруг почувствовал в голове невыразимо приятную тяжесть...

Сделав от окна несколько шагов, он почти упал на близстоящее ложе: в ушах его слегка звенело, зрачки глаз расширялись, а обоняние резко чуюло нечто страстно опьяняющее... Кинув взгляд в один из углов палаты, где стояла высокая золотая фигурная курильница с едва заметным синим огоньком, Годичан, к удивлению, заметил, что курильница как будто движется и свет ее все более и более увеличивается... Годичан, лениво повернув голову, заглянул в другой угол: с курильницей, там стоявшей, происходило то же самое... «Это мне чудится так», — подумал он и успокоился... А между тем приятная лень совсем одолевала его: ему даже лень было пошевелить рукой, ногой, головой, даже лень

было думать о чем-либо, а хотелось только отдохнуть и бесконечно отдыхать на этом мягком, удобном и прекрасном ложе...

Годичана начала уже томить легкая дрема, как перед ним, точно во сне, тихие, прекрасные, появились девушки и начали играть на цитрах.

Все они были одеты в прозрачные шелковые ткани, такие легкие, такие прозрачные, что через них сквозило все тело девушек, казавшееся еще прекраснее, еще обольстительнее. На обнаженных до плеч руках, выше локтя, блистали у них золотые запястья, унизанные камнями, издававшими невероятно прекрасный свет. На ногах ниже колен были надеты такие же запястья, которые при малейшем движении прелестниц издавали тихий и приятный звон. Волосы их были переплетены жемчужными нитками и цветными гирляндами; на шее висели ожерелья из крупного винетского янтаря.

Годичан смотрел на них с некоторого рода удивлением. А они между тем начали перед ним петь и плясать... Песни их звучали самой неудержимой, самой соблазнительной любо-

вью, а пляски опьяняли, как хмелем, до самой глубины души... Годичану хотелось им что-то сказать, но язык его как будто прилип к гортани, и он ничего не мог промолвить... А драма все более и более одолевала его, и вместе с нею по всему телу его пробегали какие-то огненные струи...

Годичан начал забываться...

В это время одна за одной, с милыми ласками на устах, с чарующим огнем на ресницах, лобзая и обнимая его, к нему начали подходить молодые, обольстительные прелестницы...

Далее Годичан ничего не помнил...

Проснувшись довольно поздно, он чувствовал необыкновенную тяжесть в голове, сердце его сильно билось, веки сжимались, ноги нервно вздрагивали. Недоумевая, что такое с ним происходило вчера вечером, он вдруг увидел вошедшего к нему Хрисафия.

— Хорошо ли царский посол изволил поживать? — хитро приветствовал его Хрисафий.

Годичан объявил ему о своем недоумении и что чувствует себя не особенно хорошо.

— Неужели? — удивился, улыбаясь, Хрисафий. — А я думал наоборот. Я думал, что царский посол изволил провести самую приятную и самую восхитительную ночь.

— Почему так? — спросил Годичан.

— Мало ли почему! — отвечал уклончиво Хрисафий и улыбнулся.

Годичан понял, что для него из угождения решились на что-то не особенно благовидное. Это что-то пришло Годичану очень не по вкусу, и он с недовольством сказал Хрисафию:

— Спасибо за ночь... Только уж вы в другой раз, пожалуй, не делайте так... Мне так не нравится.

— Во всяком случае, — заговорил несколько беспокойно Хрисафий, — царский посол на меня за это не осердится, и не забудь того, о чем у нас всегда шла речь.

— Нет! — ответил резко Годичан.

Хрисафий помолчал, медленно поклонился Годичану и, объявив, что посольство императором уже назначено, вышел.

Годичан, проводив его глазами, дал в душе клятву разоблачить заговор Византийского двора перед своим властелином.

Двор византийский горько ошибся в выборе Годичана.

Годичан был одним из вернейших слуг Аттілы.

Глава II

ПОСОЛЬСТВО ФЕОДОСИЯ

В тот же день посольство императора Феодосия во главе с Максимином, секретарем Приском Ритором и переводчиком Вигилой, вместе с возвращавшимся посольством Аттілы, выступило в дорогу.

После тринадцатидневного пути посольство прибыло в Сардику.

По прибытии туда посольство императора пригласило Годичана вместе со свитой откусать с ним. Стол был у посольства порядочный: жители Сардики доставили ему довольно говядины и баранины.

Во время обеда гунны стали превозносить Аттілу:

— Велик наш царь, Аттіла, и нет равного ему царя на свете!

В свою очередь послы Феодосия начали

превозносить своего императора:

— Наш Феодосий лучший император, и не было такого императора, как он! Только одному Августу он и равен!

А переводчик Вигила прибавил:

— Что вы, гунны, хвалите своего царя, человека, с таким императором, как наш божественный Феодосий!

За это сравнение гунны рассердились на послов императора и готовы были затеять ссору; но послы обратили разговор на другие предметы и старались ласковыми словами укротить гнев гуннов.

После обеда Максимин, чтобы совершенно примириться с посольством Аттилы, предложил Годичану и Оресту подарки: шелковые платья и индийский жемчуг.

Орест, дождавшись, пока Годичан оставил общество, обратился к Максиминому и хвалил его благоразумие, что не вмешался в общий разговор, явно противный обоим правителям, и заметил ему:

— Зачем все, делая подарки Годичану, пренебрегли меня?

Послы императора, не зная, к чему относи-

лись подобные слова Ореста, спрашивали его:
— В чем и каким образом произошло такое пренебрежение?

Орест, однако, не сказав ни слова, вышел.

На другой день, продолжая путь, секретарь посольства, Приск Ритор, сошелся с Вигилою и повторил ему слова Ореста. Вигила отвечал:

— Орест отнюдь не должен сердиться за неполучение подарков наравне с Годичаном, потому что он есть только писец или секретарь Атилы, а Годичан знаменитый вождь и вельможа и много выше его достоинством.

Затем Вигила обратился к Годичану и начал говорить с ним на славянском языке и все, о чем шла речь, передавал посольству. Но он посольство обманывал и передавал ему совсем другое.

Слушая все это, Орест начал нечто подозревать. А Вигила обманывал посольство потому, что боялся открытия заговора.

Наконец посольство императора прибыло в город Ниссу, который был почти совсем разорен и оставлен жителями. Только в развалинах церквей находилось по нескольку больных.

Перейдя реку Нишаву, посольство двинулось через нисские поля, которые еще были усеяны костями убитых в бывшем там недавно сражении.

На другой день посольство прибыло в главное становище Агинтея, главноначальствовавшего войсками Феодосия в Иллирике, находившееся неподалеку от Ниссы.

Феодосий дал Агинтею повеление отпустить послам пять гуннских беглецов, для пополнения числа семнадцати, которых обещался возвратить Аттиле.

Агинтей, отпуская бедных беглецов, насколько возможно, утешал их.

Так как Аттила не хотел принимать посольства императора в Сардике, то послы, переночевав в Иллирике, взяли направление от Нисских гор к Дунаю.

В дороге после многих извилин и переходов посольство набрело на одно селение, из которого оно через ровные и влажные места пробралось к берегу Дуная.

На берегу Дуная гуннские перевозчики приняли посольство в свои лодки, которые были выдолблены из толстых бревен.

Лодки эти были приготовлены не для посольского перевоза, а для переправы на южный берег многочисленного войска гуннов, с которым посольство должно было встретиться в дороге.

Аттила выступал в поход так же легко, как и на охоту, и таковы были его приготовления к войне за горсть каких-нибудь жалких беглецов.

Переправившись через Дунай, посольство проехало верст пятнадцать и его вдруг остановили на одном поле и велели дожидаться, пока Годичан отправится к Аттиле и известит его о прибытии. При императорском посольстве оставлены были воины, которые должны были провожать посольство, как иностранцев.

К вечеру во время ужина посольства слышался топот лошадей, и вдруг появились два Аттиловых всадника.

Они велели посольству ехать на другой день к Аттиле.

Императорские послы просили всадников откусать с ними. Всадники сошли с лошадей, присели к ним и отужинали вместе.

На другой день всадники проводили послов, и послы в восьмом часу приблизились к палатке царя-полководца, вокруг которой было раскидано множество других палаток.

Это был воинский стан Аттилы.

На одном удобном возвышении императорские послы хотели было раскинуть и свою палатку, но это им было запрещено, и послы должны были остановиться там, где им назначили.

Вскоре к послам императорским прискакали Годичан, Скотан, Орест и другие гуннские воеводы и стали у послов спрашивать:

— Для чего и по какому поводу прибыли вы сюда?

Удивленные послы не понимали такого странного вопроса. Но гунны настаивали и стали заводить шум, чтобы вынудить у послов признание. Послы отвечали, что они имеют повеление от своего императора, которое сообщат одному только царю.

Скотан рассердился на такой ответ и крикнул:

— Я получил повеление от самого царя узнать причину вашего прибытия! А вашу

хитрость и низость в делах мы знаем!

Послы начали уверять и доказывать, что еще никогда не было ни закона, ни обыкновения, чтобы посланники разглашали всякому вверенные им препоручения прежде, нежели будут допущены к тому, к кому они прямо относятся, что это им самим должно быть известно, так как они сами были посланниками в Византии, и что им дозволено было, того и они не должны отвергать, а должны поддерживать права посольства.

Получив такой ответ, воеводы Аттиловы отправились к нему, но вскоре возвратились.

Недоставало одного только Годичана.

Посланцы Аттиловы сами высказали императорскому посольству цель их прибытия и прибавили, что если они, кроме этих поручений, других не имеют, то могут отправляться восвояси.

В таком положении послы не знали, что предпринять, и никак не могли додуматься, каким образом тайные поручения императора были известны Аттиле. Сколько послы ни оправдывались и ни просили, чтобы их допустили к царю, но гунны настояли, чтобы они

отправились в обратный путь.

Во время приготовления к отъезду Вигила упрекал своих товарищей за ответ. Он говорил, что «гораздо лучше было бы солгать что-либо, чем, не сделав ничего, возвратиться домой. Если бы я, — говорил он, — повидал царя, то все несогласия между обеими державами прекратились бы, тем более что я уже прежде оказал царю услуги во время первого заключения договора. Того же мнения и Годичан».

Вигила метил на то, чтобы под видом посольства исполнить тайные поручения Византийского двора относительно умерщвления Аттилы, но он не знал, что умысел двора был уже открыт. Его открыл Аттиле Годичан, притворно согласившийся на подкуп. Он же ему сообщил и то, о чем должен был вести переговоры и Максимин.

Оседлав коней, послы по необходимости вечером отправились было в обратный путь, как вдруг к ним прискакали царские воины с повелением, чтобы они, не пускаясь в путь в темную ночь, возвратились на свое место. К послам тотчас же привели и зарезали быка и

принесли много рыбы, присланной им Аттилой. Поужинав, послы улеглись спать. На расвете послы императорские ласкали себя надеждой, что Аттила, смягчившись, примет их благосклоннее. Однако он велел сказать послам, что если они не имеют сказать более того, что уже ему известно, то должны возвратиться домой.

Послы снова собрались в дорогу, несмотря на то что Вигила убедительно советовал сказать царю, что имеет еще что-то сообщить ему, для него весьма важное.

Заметив прискорбие Максимиана по случаю неудачного и постыдного посольства, Приск Ритор решился сходить в палату Скотана и взял с собою одного из чинов посольства, Рустиция, который хорошо знал славянский язык.

Через Рустиция Приск разговаривал со Скотаном и от имени Максимиана обещал ему великие подарки, если он откроет послам доступ к Аттиле, так как Максимин желает заключить такой договор, который очень будет полезен не только для Византии, но и для самого Аттилы.

Убежденный словами Приска, Скотан сел на коня и поскакал к палатке Аттилы.

Возвратясь к своей палатке, Приск нашел Максимиана и Вигилу в величайшем недоумении и страхе. Приск рассказал Максимиану о своем посещении Скотана и о его поездке к царю и просил Максимиана приготовить обещанные подарки, и придумал речь, которою должно будет приветствовать гордого Аттилу.

Лежавшие на траве Максимиан и Вигила встали, похвалили Приска за предприимчивость, велели позвать назад часть посольской свиты, выступившей уже в путь.

Тогда послы императорские стали думать, как приветствовать царя Аттилу и поднести ему Феодосиевы подарки.

В это время к послам прибыл Скотан с повелением приготовляться к свиданию с царем.

Посольство отправилось к палатке Аттилы, которая была окружена многочисленной стражей.

Когда послы вошли в палатку, Аттила сидел в деревянных креслах, окруженный своими воеводами.

Послы остановились у входа в палатку. А Максимин, подойдя к Аттиле, поклонился и, вручая письмо Феодосия, сказал:

— Император желает тебе, великий царь, и всем твоим подданным здравствовать.

Аттила гордо отвечал:

— Ваши желания вам же на голову!

После этого он обратился к Вигиле:

— Ты зачем здесь? Для чего ты сюда пришел, когда мир заключен на таких условиях, какие я предложил?

— Император не прежде мог прислать ко мне посольство, как только по возвращении всех беглецов, находящихся в его владениях!

Вигила на это отвечал, что в империи не осталось ни одного беглого из скифского народа, так как все они уже выданы. Аттила вспыхнул.

— За эту дерзкую ложь следовало бы тебя повесить, но я уважаю права посольства! — грозно произнес Аттила и велел писцам своим подать список беглых, которые находились еще в Византии, и читать вслух.

Аттила имел достаточно причин, чтобы добиться выдачи беглецов, так как византий-

цы покровительством своим беглецам подавали повод воинам Аттилы к побегу. А Аттила этого страшно не любил.

Когда отметили число недостававших, Аттила тотчас же повелел одному из своих воевод, Иславу, отправиться с Вигилою в Византию и, по объявлении императору, чтобы немедленно выданы были все беглецы, проживающие в его областях, — возвратиться скорее с ответом: будут ли возвращены переметчики или в противном случае желают ли византийцы продолжения войны. Максимиனு же велел дожидаться, пока приготовится ответ на письмо императора.

Вслед за этим, приняв от послов подарки, их отпустили. Когда они пришли к себе, к ним явился Годичан и, отозвав Вигилу в сторону, велел ему, при возвращении из Византии, привезти условленные деньги для подкупа стражи и, кончив совещание, ушел опять. Тут же послы получили запрещение Аттилы выкупать византийских пленных у его подданных или покупать рабов, лошадей или что бы то ни было, кроме съестного, до тех пор, пока не будет заключен окончательно мир

между ним и Феодосием.

Ислав и Вигила отправились в Константинополь будто для того, чтобы по повелению Аттилы привести пленных и переметчиков, а на самом деле для того, чтобы Вигила привез обещанное Годичану золото и Аттила мог уличить его в заговоре на его жизнь и тем еще более увеличить свои требования от Феодосия.

По отъезде в Константинополь Ислава и Вигилы Аттила приказал послам императора дожидаться прибытия Онигиса, первого своего советника и воеводы, который должен был написать ответ на письмо Феодосия и принять для хранения подарки, присланные и ему, и Онигису.

На третий день после этого посольство отправилось за Аттилою в места, лежащие более к северу. Проехав некоторое время за Аттилою, по указанию проводников повернули на другую дорогу.

Аттила же остановился в одном селении и затеял свадьбу на встретившейся ему на Дунае девушке-красавице, дочери некоего Эски, Эскине.

Между тем послы продолжали путь все на северо-восток, переправляясь через несколько судоходных рек. Через реки перевозили их жители соседних деревень. На пути, в селениях, им везде доставляли съестные припасы: мучные лепешки и квас.

После долгого пути в вечернее время послы прибыли к одному озеру и, желая отдохнуть, раскинули на берегу озера свои палатки. Но вдруг поднялся сильный ветер, загремела ужасная гроза: палатку послов разломало, а вещи унесло в озеро. Послы испугались и во мраке рассеялись кто куда мог искать от грозы убежища. Наконец, разными дорогами, они достигли селения, собрались и начали кричать о помощи. На этот шум жители селения выбежали с зажженными лучинами в руках и, приблизившись к послам, спрашивали, что с ними случилось и отчего они так расшумелись. Проводники отвечали, что гроза преследует их. Узнав это, селенцы с радушием просили их к себе.

Это селение принадлежало вдове Владо.

Она прислала послам кушаньев и вместе с тем несколько красавиц, чтобы им приятнее

было провести вечер. Поблагодарив за кушанья, послы, однако, отказались от приятного сообщества с милыми красавицами.

Наутро следующего дня послы начали искать своих вещей, потерянных ими ввечеру. Они нашли их отчасти там, где стояли накануне, отчасти на берегу озера, частью же в самом озере. Обсушившись и оседлав лошадей, послы отправились к Владо, чтобы откланяться ей и поблагодарить за гостеприимство. Послы одарили ее серебряными сосудами, красною шерстью, индийским перцем, финиками и другими сухими плодами.

Откланявшись, послы отправились далее.

Проехав шесть дней сряду, проводники заставили послов подождать, пока Аттила проедет этою дорогою.

Тут послы Восточного императора встретились с послами Западного, которые тоже ехали за Аттилой.

В римском посольстве состояли: комит Ромул, префект Норики, Примут и Роман, известный римский военачальник. С ними был и секретарь Аттилы, Констанций, и Татулл, отец Ореста, в качестве свата Ромулова, так

как Орест был женат на Ромуловой дочери.

Переждав проезд Аттилы, оба посольства отправились вслед за ним.

Дня через три оба посольства прибыли в столицу Аттилы Киев.

Глава III ОБЕДЫ АТТИЛЫ

Хоромы, построенные Болемиром, при Аттиле еще более украсились и были выше и величественнее всех строений в городе. Некоторые постройки были уже воздвигнуты из хорошо полированных камней. Весь дворец был окружен резною деревянною оградой не для укрепления, а для украшения. Ближе всех к дворцу находился дом Онигиса, тоже с оградой, но не с такими красивыми башнями, как на дворце. В некотором расстоянии от дома Онигиса находилась каменная прекрасная баня. Баню эту построил Онигису один пленный из Сирмии.

При въезде в Киев навстречу Аттиле, как прежде Болемиру, вышли девушки и, воспевая ему славу, шли рядами в город под длин-

ными и широкими белыми покрывалами, которые наподобие балдахина поддерживаемы были пожилыми женщинами. Под каждым покрывалом находилось до шести и более девушек.

Когда Аттила приблизился к дому Онигиса, навстречу ему из дверей дома вышла супруга воеводы, сопровождаемая множеством девушек, и поднесла на серебряном блюде Аттиле закуску и вино. Аттила, не слезая с лошади, прикушал несколько с блюда, поддерживаемого его приближенными, и, выпив чашу, поехал во дворец.

Послы же, по повелению Онигиса, остались в его доме. Здесь их супруга Онигиса с другими знатными женщинами угощали ужином. Самого Онигиса не было: он все время был у Аттилы. После ужина, оставив дом Онигиса, византийские послы въехали в дворцовый обширный двор и раскинули там свою палатку с тем, чтобы Максимину легче было являться к Аттиле. Послы там переночевали.

Утром на другой день Максимин послал Приска вручить Онигису подарки, как от им-

ператора, так и от него, и просить его назначить посланнику время и место для переговоров. С Приском шли слуги, которые несли подарки.

Приск слишком рано сделал посещение: в доме еще спали.

Прохаживаясь от скуки возле дома Онигиса, Приск встретил одного пленного грека, который был с виду богат и, по гуннскому обычаю, носил волосы, подстриженные в кружок.

Приск с ним разговорился.

Оказалось, что это был мизийский грек, живший в городе на Дунае Виминации, где производил торговые дела, женился там выгодно, но после взятия приступом гуннами этого города лишился свободы и имени и при разделе пленных достался Онигису. Потом, сражавшись храбро под знаменами Аттилы против римлян и на Днепре, получил в награду добычу вместе с свободой, женился на гуннянке, имеет уже от нее детей и, удостоившись любви и стола Онигиса, считает себя гораздо счастливее, чем в Византии. В заключение разговора он прибавил, что воины у Аттилы имеют великие права и преимуще-

ства и пользуются своим заслуженным именем вполне без всяких забот и обязанностей.

Между тем один из служителей Онигиса отворил ворота.

Приск вошел и просил доложить, что он пришел от византийского посланника и желает говорить с Онигисом. Служитель просил его подождать. Вскоре вышел Онигис. Сделав поклон от имени посланника и представив ему подарки как от императора, так и от Максимиана, Приск спросил его о месте и времени свидания с царем.

Онигис велел слугам своим принять золото и подарки, а Приску сказал, чтобы он доложил Максимиану, что тотчас же к нему придет.

И действительно, вслед за Приском Онигис прибыл в палатку Максимиана.

Изъявив свою благодарность как Феодосию, так и Максимиану, Онигис спросил у Максимиана о причине своего призыва. Максимиан стал представлять Онигису, что пора уже прекратить несогласия обоих дворов и что, отправясь в Константинополь и прекратив несогласия мирным договором, он принес бы

великую пользу не только обеим державам, но и себе доставил бы славу и богатство по милости императора.

Тогда Онигис спросил:

— В чем же я могу быть полезным императору?

Максимин отвечал:

— Император просит, чтобы Онигис сам отправился в Константинополь и, разобрав спорные статьи между обеими державами, сделался посредником в окончании их и заключении мирного договора.

— Зачем же мне ехать самому в Константинополь, — говорил Онигис, — если я уже давно известил вашего императора и его приближенных, в чем состоит желание моего царя и мнение относительно всего спорного дела. Неужели император думает, — прибавил он, — что своими обещаниями побудит его изменить своему царю и отечеству.

— Оставаясь дома, я, во всяком случае, могу быть полезнее вам своими представлениями царю и могу скорее укротить его гнев, если я в чем-либо слишком бы настоятельно требовал в вашу пользу. Если же я отправ-

люсь в Константинополь и сделаю что-либо не по его желанию, то навлеку на себя гнев не только моего царя, но и вашего императора.

На другой день Приск вместе с другими сановниками Византии был представлен царице Иерке.

Царица жила совершенно в отдельном помещении дворца со двором, где также находилось много строений как из камней, обделанных и красиво сложенных, так и из бревен, во всю их длину, чисто и искусно выглаженных. Одна башня, начинаясь кругами от земли, возвышалась кверху до известной пропорции. Там жила царица Иерка.

Находившиеся у дверей слуги по полам, устланным коврами, ввели Приска в светлицу царицы.

Царица в это время полулежала на мягком ложе. На ней было длинное льняное покрывало, изукрашенное пурпуровым цветом. Покрывало по стану было стянуто поясом и красиво обрисовывало стан царицы. Так как покрывало не имело ни рукавов, ни воротника, то руки и плечи у царицы были голы и близкая к ним часть груди открыта.

Вокруг царицы находилось множество прислужников, а напротив на полу у ее ног сидели за работой молодые девушки. Они вышивали красками полотно, служившее для украшения одеяния.

Молча приняв от Приска императорские подарки, царица дала ему знать, что он может идти.

Когда Приск вышел от царицы, то увидел множество народа, который с шумом бежал к царскому крыльцу.

В это время на крыльце показался Аттила в сопровождении Онигиса.

Вся толпа смолкла и устремила на него взоры.

Сев на приготовленное для него место, Аттила начал принимать жалобы, накопившиеся во время его отсутствия. Некоторые жалобы он тут же разрешал, а некоторые поручал хорошенько исследовать Онигису. Так Аттила творил свой суд и расправу. Любя свой народ, он допускал к себе всякого, кто имел к нему дело. За то и народ до обожания любил его. Когда Аттила возвращался из армии в Киев, то народ каждый раз шумно и радостно

встречал его и долго толпился вокруг дворца, чтобы, встретив царя, снова приветствовать его своею любовью.

После жалоб Аттила принимал посольства от покорных ему славянских народов.

Между тем посланники западного императора Валентиниана Ромул, Примут, Роман, а потом Рустиций и Констанций подошли к Приску и спрашивали:

— Что вы, отпущены?

Сказав им, что зашел ко дворцу именно от Онигиса узнать, когда их отпустят, Приск, в свою очередь, спросил римлян, каковы их дела?

Они ответили, что Аттила в своих требованиях непреклонен и настаивает на своем или же объявит страшную войну.

Заговорив вместе о гордости и могуществе Аттилы, Ромул, бывший во многих почетнейших посольствах, муж опытный и сведущий, прибавил, что счастье делает Аттилу горделивым. Никто, говорил он, из владетелей Скифии, его предшественников, не совершил стольких подвигов в столь короткое время, как он. Аттила, говорил он, владеет целою об-

ширною Скифией, от островов океана до пределов империи римлян, которых сделал уже своими данниками. Но этим еще он недоволен, душа его стремится к большим подвигам. Желая распространить пределы своего владычества, он имеет намерение объявить войну и Персии.

Примут спросил:

— А есть ли дорога из Гуннии в Персию?

Ромул отвечал:

— Мидия от гуннов недалеко, и гунны очень хорошо знают эту дорогу, по которой они уже ходили и нападали на мидийские города Васих и Карсих. По причине близости Аттиле легко напасть на персов и победить их. Войска у него столько, что ни один народ не в состоянии сопротивляться ему. Я бы желал, — заключил Ромул, — чтобы Аттила начал войну с персами, потому что вся тяжесть войны с Аттилой была бы снята с Римской империи.

Констанций на это возразил:

— Напротив, не надо желать этого. Если Персия погибнет, то вся тяжесть Аттиловой державы падет на восточную и западную им-

перии и Аттила будет обращаться с нами, как с вассалами. Мы уже и теперь платим ему постыдную дань.

Заметив, что Онигис вышел из дворца, послы бросились к нему с вопросами: «Что царь? Как царь? Скоро ли примет?»

Поговорив со своими приближенными, Онигис обратился к Приску:

— Спроси, пожалуйста, у Максимиана: кого император намерен из высших сановников прислать к царю уполномоченным?

Посоветовавшись с Максимином об ответе, Приск возвратился к Онигису и сказал, что император желает, напротив, видеть его самого в Константинополе и кончить с ним спорное дело. Если же нельзя надеяться на это, то император пришлет кого заблагорассудится.

Онигис велел Приску позвать Максимиана и повел его к Аттиле. Аттила хотел, чтобы Феодосий отправил к нему послами Нотия и Анатолия, которые уже прежде у него были, и что другого посольства он не примет. Максимиан заметил царю, что неприлично назначать поименно тех, кого он к себе желает, по-

тому что на них может лечь подозрение императора.

— Если император, — сказал гордо Аттила, — не исполнит моего требования, то пусть снова готовится к войне.

В тот же день восточное и западное посольство было приглашено на царский обед.

В назначенное время послы явились во дворец. Аттила встретил их в приемной. После обычных приветствий с обеих сторон царские кравчие поднесли послам по чарке вина, чтобы они до обеда выпили за здоровье друг друга.

Выпив, послы вошли в обеденную светлицу, которая была пышно разукрашена и обставлена кругом стен седалищами.

В середине ее, на ложе, сидел сам Аттила. Против него было другое его седалище со ступенями, ведущими в его опочивальню. Ступени были устланы белыми и другого цвета коврами. Первостепенные гости заняли места по правую руку Аттилы, менее знатные — по левую. Налево же поместили и Приска. Рядом с ним сел Борич, богатый вельможа Аттилова двора. Тут же сидел и Онигис, но только выше

других. На креслах по правую руку царя сидели два его сына: старший Данчич, на одном ложе с Аттилой, несколько поодаль, а другой, Гезерик, рядом на кресле.

Когда все уселись, вошел старший кравчий с огромным серебряным сосудом, в котором было вино. Аттила, черпнув из сосуда вина, выпил за здоровье первейшего по порядку гостя, который, встав и отблагодарив поклоном, не прежде мог сесть, как отведав или совсем опорожнив подносимую ему золотую чару с вином за здоровье следующего соседа. Всякий гость по порядку принимал чару и, выпив, по объявлении тоста, кланялся сидящему царю в знак почтения. Царь отвечал легким наклонением головы. За спиной у каждого гостя стоял кравчий с вином к его услугам.

Когда весь круг гостей был обойден чарой, Аттила, шутя, подозвал византийских послов к себе и, по византийскому обычаю, вызвал их на стаканый бой, т. е. кто больше выпьет. Послы, разумеется вели себя благоразумно, а царь отчасти зло посмеивался над ними.

Наконец кравчие с вином удалились.
Наступило время обеда.

Прежде всех вошел прислужник Аттилы и принес блюдо с мясным кушаньем, которое Аттила начал есть на деревянной тарелке. Прочие прислужники подносили ему хлеб. Затем начали подавать обед и гостям. Гостям все подавалось на грузных серебряных блюдах обильно и вкусно.

За столом Аттила, по обыкновению, сидел в своей бурке, перепоясанной мечом. Вельможи его, напротив, были осыпаны золотом, драгоценными камнями и жемчугами. После каждого кушанья все вставали и рядом выпивали за здоровье Аттилы. Аттила тоже пил за общее здоровье из своей деревянной чары.

Пообедав, все встали и, выпив еще по чаре вина, сели по своим местам.

Несколько спустя после обеда в светлицу вошли два пожилых гусяра и, поклонившись царю, начали играть на гусях и петь славельные песни о подвигах Аттилы.

Гусяры пели:

*Расплескался беспокойный Неман;
Поднялись от Немана веныды:
Собрались в могучую громаду*

И ударили тогда на готов.
Ой вы, готы, готы!
Злое ваше племя!
Где ж вы подевались?
Что же вас не стало?

Расшумелся, разгуделся весь Дунай;
Расшумелись гунны на Дунае:
Царь вскрывает вражьи стены,
города,
Царь берет и почести, и дани.
Что же вас не слышно,
Рим и Византия?
Где же ваша слава?
Где гордыня ваша?

Солнце ясное с востока поднялось:
Звезды ночи все померкли в вышине.
Солнце ясное — великий властелин,
Властелин Аттила, царь других царей!
Воспоем же славу
Нашему царю
И ударим в гусли

Громко и скорей!

Все, не исключая и самого Аттилы, с удовольствием слушали гусяров.

Иные восхищались стихами, которые возбуждали воспоминания о военных деяниях и подвигах, а у иных, особенно стариков, при пении появлялись на глазах непритворные слезы.

Аттила любил стихи и пение, а потому при его дворе находились постоянные так называемые гадляры, т. е. стихослагатели и певцы. Вообще песни у кыян были в постоянном употреблении, и они любили их, как и теперь русский человек любит свою родную, подчас заунывную, а подчас и разгульную песню-сказание.

После пения и стихов быстро вбежал в горницу царский шут по имени Харя Мурин. Он одет был в цветные лоскутья, в колпаке с гремушками и в неимоверно больших башмаках, которые, когда он ходил, шлепали по полу и давали повод смеяться над ним. Кроме этого, шут говорил всякий вздор: охал, представлялся больным, быстро выздоравливал и производил этими выходками среди гостей

неудержимый хохот.

Во время всеобщего веселья Аттила оставался мрачным. Он не сказал ничего, что могло бы одобрить гостей к еще большему веселью.

Когда шут дурачился, вошел младший сын Аттилы Ирнак. Аттила подозвал его к себе и начал ласково гладить по голове.

Между тем шут остановился перед Годичаном и начал низко кланяться ему.

— Чего тебе? — спросил Годичан.

— Ох! — тяжело вздохнул Харя Мурин.

— Ну, рассказывай, в чем дело? — допрашивал Годичан.

— Сам знаешь... — охал шут.

— Что знаю?..

— Жены нет...

— А куда же ты ее подевал?

— У Аэция оставил, — говорил жалобно Мурин. — Когда я был послан царем в подарок Аэцию, то убежал от него: не по нутру мне пришелся Рим, где человека зверями травят, а ослов на воеводства садят. А жену-то второпях, поверишь ли, и позабыл с собой прихватить. Батюшка, помоги мне добыть

жену. Очень уж мне жена надобна.

— Ну, ладно, помогу, — смеялся Годичан. — А ты вот, кстати, расскажи нам: откуда ты родом, потому у нас на Киеве подобных тебе балясников нет, да и зовут тебя как, тоже скажи?

— Родом я с Дуная, а зовут меня Зерхон Маврузский.

— И ты любишь свой Дунай?

— Ох, люблю, люблю! — воскликнул жалобно шут.

— А коль так, расскажи нам, как ты скучаешь по своей родине.

Харя Мурин стал посреди светлицы, склонил голову, сложил на груди руки и начал грустно рассказывать о своей тоске-кручине по далекой родине.

Он рассказывал:

— Опять блеснуло солнце на ясном высоком небе, опять я спрашиваю его о моей милой, дорогой родине. Спрашиваю у солнца: скажи мне, солнышко красное, когда ты утром рано пробегало над моею родиной, что ты видело в нашем доме на дворе? Проснулась ли мать моя? Помнит ли она меня? Если

она встала со сна и если она вспоминает обо мне, то что она говорит? Еще спали ли дети? Что мои братья делают? Так ли встречают они утреннюю зарю, как я ее здесь встречаю с грустью на сердце, со слезами на глазах! Помнят ли они о своем младшем брате? Помнят ли друзья своего верного друга? Или же они после вчерашнего веселья уснули крепко? Помнят ли они меня? Шумит ли волнами белый Дунай? Ходят ли еще по нему большие и малые ладьи? Уносят ли они вести к грустным матерям или потопают в море? Веют ли бурные ветры в Балканах — горных стремнинах? Скажи мне, друг солнце, скажи мне правду о всем, о чем я тебя спрашиваю теперь. Если ты встретишь зарю вечернюю, ее в обед ты застанешь, скажи ей — пусть она с вечера, как скоро ты засядешь, раньше засветит! Мне нужно рассказать ей про мою жизнь в этой далекой земле. Стану и ей жаловаться о том, как бурные ветры вчера с обеда до вечера сильно и люто веяли мне от моей родины, от белого и мутного Дуная: как надрывалось у меня сердце, что они не донесли до меня никакой весточки! Высказал я все это

солнцу, оно посмотрело на меня с ног до головы, показав свое ясное лицо, и, как бы с грустью на сердце, отвечало мне: и белый Дунай, широкий, мутными волнами шумит, большие и малые ладьи все так же вести уносят по Дунаю-реке, широкой, по морю синю, глубокому, к грустным матерям. Бурные ветры все ведают в Балканах — горных стремнинах. Твои же верные друзья не только еще не встали от сна после вчерашнего их веселья, но даже в дружбе не верны! Тебя они по часту не вспоминают! Встали и твои братья, и дети также рано поднялись: они играют на дворе, но никто о тебе не вспоминает! Только одна душа там, где-то дальше помнит тебя: она всегда рано встает и слезы роняет горячие, капля по капле, о тебе, и как только встает утром, так все плачет и все поджидает тебя, поджидает тебя!..

Рассказчик смолк, поникнув головой. Все, зная, что Харя Мурин рассказывал вздор, что у него никакой жены у Аэция не было, что он родом вовсе не с Дуная, шумно и весело расхохотались.

Один только Аттила пасмурно молчал.

Вымышленный, но задушевный рассказ Хари Мурина напомнил ему и его родину, и его далекие, лесистые берега Немана.

Аттила быстро встал и ушел в свою опочивальню.

Гости тоже повставали и начали расходиться.

Было уже довольно поздно.

На следующий день византийские послы отправились к Онигису спросить об отпуске. Онигис сказал послам, что царь желает того же. После этого Онигис собрал совет воевод, в котором рассуждали о предположениях Аттилы, и приготовили письмо к императору Феодосию.

В тот же день послов пригласили на ужин к царице. Послы имели удовольствие пользоваться ее благоволением.

Царица была окружена многими гуннскими князьями и потчевала послов пряниками, вареньями и великолепным ужином. На ужине всякий из присутствовавших гуннов, по правилам гуннской вежливости и учтивости, встав с места, подносил послам полную чару вина и, облобызав пившего, относил опорож-

ненной.

Потом послы опять были приглашены к обеду Аттилы.

Обед был такой же, как и прежде. Только на этот раз старшего сына не было.

А Харя Мурин рассказал повествование о необыкновенной красоте одной бактрианской царевны, Ильдицы.

Аттила с любопытством слушал рассказ шута, а потом спросил его:

— И ты правду говоришь, Мурин?

— Ох, правду, царь... Такой красоты нигде не видно... Само солнце прячется, когда завидит ее... Ветры буйные стихают от одного взора ее. Запоет соловей, и она запоет: и смолкнет соловей перед ее пленительным голосом. Черные кудри ее похожи на тучи небесные. А очи — на синеву Адриатического моря...

Аттила, выслушав этот рассказ, почему-то глубоко задумался.

Глава IV

ПЕРЕМЕНА ВИЗАНТИЙСКОГО ДВОРА

Спустя три дня византийских послов одарили и дали им отпускную. С ними вместе отправлен был в Константинополь и Борич, который и прежде был посланником в Константинополе. Вместе с византийским посольством возвращалось и посольство западного императора.

На дороге из Андрианополя в Константинополь послы встретили возвращавшегося ко двору Аттилы переводчика Вигилу.

Вслед за посольством и Аттила выехал из Киева и отправился на Дунай, где стояли его войска.

Для принятия возвращающегося заговорщика Вигилы Аттилой были сделаны распоряжения. Переправившись через Дунай, заговорщик Вигила тотчас же был взят под стражу. Все вещи у него были отобраны. В числе вещей вместо пятидесяти фунтов золота, предназначенного для Годичана, найдено бы-

ло сто фунтов. Аттила велел его представить для допроса. Мошенник утверждал, что золото назначено совсем для другой цели. Аттила велел схватить сына его, прибывшего с ним, и грозил повесить его, если отец не признается в тайном покушении. Тронутый участью сына, преступный отец признался в своем намерении и сам открыл козни Византийского двора. По совершении допроса Аттила велел заковать его в цепи и сказать ему, что он до тех пор не отпустит его на волю, пока сын его не привезет из Константинополя других ста фунтов золота.

Сын Вигилы был отпущен обратно в Константинополь. А вместе с ним были отправлены Ислав и Орест.

Оресту велено было явиться к императору Феодосию с мешком на шее, в котором было привезено для Годичана золото, и спросить любимца императорского, Хрисафия: знаком ли ему этот мешок? А императору сказать, что он сын отца благородного, и Аттила также сын мужа, не менее благородного и знаменитого, и поддержал и наследовал достоинство и благородство своего родителя. А

император, напротив, унизился, сделавшись данником и вассалом гуннов, и потому ему, как слуге подлому и неверному, неприлично делать тайный заговор и покушение на жизнь своего господина.

Посольством этим чрезвычайно был поражен двор Византийский и из страха, насколько возможно, стал угождать Аттиле.

По требованию Аттилы были отправлены к нему послами двое вельмож империи, Анатолий и Нотий, один из богатейших придворных и друг Хрисафия. А Феодосий, чтобы укротить оскорбленного Аттилу и привести к окончанию переговоры, отправил к нему весьма значительное количество золота. Со своей стороны не пощадил своего кармана и Хрисафий, по крайней мере, чтобы избежать беды.

Аттила сначала не хотел допустить к себе послов Феодосия, но потом, узнав о количестве привезенного ему золота, смягчился и, допустив их к себе, принял ласково и снисходительно.

По получении золота и других подарков, присланных императором и его любимцем

Хрисафием, был заключен между обеими державами мир, по которому возвращены Византийской империи все области, занятые гуннами по ту сторону Дуная до восточных берегов реки Моравы. А византийцы обязались не принимать гуннских беглецов. Выпущен был и Вигила, но только по взыскании с него ста фунтов золота.

Отпустив императорских послов, Атила вместе с ними отправил и своего секретаря, Констанция, чтобы Феодосий лично подтвердил договор.

29 июля 450 года Феодосий II скончался.

Ему наследовала сестра его, Пульхерия, умная и решительная женщина.

Пульхерия первая из женщин вступила на престол византийский и по необходимости должна была избрать супруга.

Выбор ее пал на Марциана, иначе Маркиана, человека невысокого происхождения, но умного, храброго и заслуженного.

При византийском дворе произошел переворот. Переворот должен был произойти и в отношениях византийского правительства к Аттиле.

Он и произошел на беду, может быть, целой Европы, особенно же — западной империи, которая находилась в руках слабого и развратного императора Валентиниана III, утопавшего в сладострастии и наносившего самые возмутительные оскорбления не только знатым фамилиям империи, но даже и своим приближенным родственникам.

Глава V ВОСТОК И ЗАПАД

Одною из тех, на которых особенно ложилась гнетом тяжесть Валентиниановой натуры, была родная сестра его, Гонория.

Восхитительная красавица, собой молодая, здоровая, полная юного блеска и страсти, она была поставлена в необходимость дать обет безбрачия на всю жизнь за титул августы или императрицы. Кроме этого и сама мать ее, Плацидия, поступала с нею с необыкновенной строгостью. Надзор был за ней самый строгий и с каждым днем все более и более усиливался. Наконец, Гонории невыносимо стало терпеть притеснения, и она, чтобы из-

бавиться от них, тайно послала к Аттиле любовное письмо с кольцом, предлагая ему себя в жены.

Аттила, получив это письмо, обрадовался случаю придраться к Валентиниану, который давно уже строил тайные ковы против Кьянского двора, и отправил к нему посольство с требованием в приданое за Гонорией пол-империи и несколько тысяч фунтов золота.

В это же время Аттила отправил своего посла и к византийскому императору, Марциану, с требованием, чтобы новый император подписал условия договора с его предшественником, в силу которого Византия должна была платить Аттиле ежегодную дань.

Марциан, отличавшийся военными талантами, деятельный и энергичный, медлил с подтверждением договора и, между прочим, стягивал свои войска, чтобы противостоять Аттиле.

Валентиниан же, весьма естественно отвечал, что Гонория не может выйти за Аттилу замуж, так как она уже имела мужа и дала обет безбрачия. Кроме этого, отвечал он, Гонория не имеет никакого права на наследство

имперских владений, от которого, по государственному постановлению, женщины исключаются.

В это же время собирались напасть на западную империю испанские вандалы[29].

Царь этих вандалов, Гейзерих, основавший свою столицу в области древнего Карфагена и Нумидии и захвативший Сицилию, Сардинию и Балеарские острова, захотел почему-то вступить в сношения с везиготами и женил своего сына, Гуннериха, на дочери везиготского короля, Теодориха.

Но в скором времени Гейзерих рассорился с своей невесткою за то, что она хотела его отравить, и, обрезав ей нос и уши, отослал к отцу. В отмщение за это Гейзерих должен был ожидать войны, которая была бы для него тем опаснее, что, по его соображениям, Валентиниан мог соединиться с Теодорихом.

Гейзерих напомнил об этом Аттиле, который любил Гейзериха и даже в честь его назвал Гейзериком одного из своих сыновей.

Надо заметить, что территория нынешней Франции была в то время под владычеством трех народов. Юго-восточная часть принадле-

жала римлянам. Юго-западная — везиготам. Северо-западная же или, вообще, северная, была во владении так называемых галлских вандалов по реке Лоаре до Сены, которые, несмотря на то что произошли от одного и того же племени венедов, вышедших с Балтийского побережья, ничего не имели между собою общего и даже нравственно разъединились. Вандалы испанские составили самостоятельное государство, тогда как вандалы Галлии[30] находились под влиянием римского владычества. Столицею везиготов была Тулуза. Их называли везиготами в отличие от вестготов, которые, изгнанные Болемиром с берегов Черного моря, наводнили Мизию и Иллирику. Везиготы, после множества испытаний, удач и неудач, поселились наконец в юго-западной части Галлии по воле императора Гонория в 411 году с целью выжить оттуда вандал. Вандал они не выжили, а основали свое королевство.

Случилось это так.

На первый взгляд здраво обдуманная цель императора Гонория состояла в том, чтобы враждебные между собой варвары, славяне,

вышедшие туда под предводительством Радогоста, и готы, поселенные им там же, загрызли друг друга насмерть. Заботу же похоронить их и торжественно отпраздновать победу над врагами Рима он брал на себя.

Это предначертание вполне бы удалось, если бы новые владельцы Аквитании решились на дело без глубокой обдуманности и употребив, прежде оружия, орудия более тонкие, острые и более верные.

В 415 году конунгом везиготов был Валлий.

Валлий находился в затруднении, с кем выгоднее держать дружбу: с римлянами или с вандалами. Не зная, какая сторона была лучше, он решился с народом своим бежать от той и от другой в Африку и основать там новую Готию. Посадив всех везиготов на корабли, Валлий пустился по океану, но к несчастью, буря прибила его корабли обратно к берегам Аквитании. По воле Одена надо было оставаться в Европе и снова обдумывать, с кем вести дружбу: с римлянами или с вандалами. Через два года последовало решение. Валлий произнес своему войску следующую речь: «Непобедимые готы, куда бы ни поже-

дали вы направить свои стопы, от далекого севера до окраин юга, повсюду вы пробивали себе дорогу оружием. Ничто не останавливало вашего торжественного шествия: ни пространство, ни климат, ни горы, ни реки, ни дикие звери, ни даже многочисленные и храбрые народы. Но вот в каком положении мы теперь: вандалы, аланы и свевы осмеливаются нападать на нас с тылу, тогда как римляне угрожают нам спереди. От вас, храбрые воины, зависит теперь решить, на кого из них подымать оружие. В победе вашей я уверен. Но стоит ли терять время на сражение с трусами римлянами: не лучше ли избрать врага, достойного вас».

Врага, достойного себе, Валлий не избрал. Он только схватил тайно одного из оплошавших князей вандалских, по имени Фредибала, и послал его к императору Гонорию, как пленного, взятого с бою на поле победы. Рим восторжествовал. Было решено почтить Гонория триумфом. Подобно победоносцу во время славы Рима, Гонорий вступил в него при торжественных возглашениях побед над свевами, над силингами, над аланами и над ван-

далами. Ничтожный Гонорий не устыдился этого триумфа, а Валлий не устыдился принять на себя роль славного героя.

По смерти Валлия в конунги везиготов был избран Теодорих.

Теодорих действительно за обезображение своей родной дочери решился немедленно же мстить Гейзериху.

Первым его делом было изъявить свою преданность императору Валентиниану и снискать дружбу римского полководца Аэция, который управлял Галлскими областями римлян и два раза наказал его за покушение распространить свои владения на счет римлян, пользуясь смутами империи после смерти Гонория.

Теодориху легко было склонить Валентиниана на новый опыт исхитить Испанию из рук Гейзериха.

К заключенному союзу присоединился и Византийский двор.

Новый византийский император, Марциан, смело отказал Аттиле возобновить договоры на постыдных условиях Феодосия II.

Аттила предвидел все это.

Но не столько возмутил Атиллу отказ императоров, Марциана и Валентиниана, в возобновлении договоров и выдачи за него Гонории с чудовищным приданым, — он бы с ними, пожалуй, сошелся, не прибегая к оружию, как не понравилось ему новое оживление готов, давнишних его врагов, которые под предводительством Теодориха грозили родственному ему племени славян-вандалов.

Атила махнул рукой на отказы Византии и Рима и начал собирать свои необъятные полчища, чтобы, двинув их на запад, накачать готов.

Но предварительно через явившегося к нему послом сына Аэция, Карпилиона, Атила написал к Валентиниану, чтобы он не мешался в расправу его с везиготами, как с беглецами из подданства гуннов. А Теодориху сообщил, чтоб он не надеялся на союз с римлянами против славян Испании и Африки.

Теодорих задумался, но ничего не ответил грозному восточному царю. Валентиниан с трепетом ожидал нового движения гуннов. Марциан нерешительно скоплял свои войска в Паннонии.

Не унывал один только храбрый Аэций.

Аэций действовал решительно и дал повеление римским войскам, шедшим из Савойи, Пиемонта и Милана, ускорить ход в южную Галлию и соединиться в ней с везиготами. Войска пришли, а везиготов нет. Эта медленность поразила Аэция. Посылают к Теодориху узнать причину этой медленности, торопят его. Теодорих представляет законную причину, что он вступал в союз с римлянами против Гейзериха, а в дела их с Аттилой вмешиваться не намерен. Посылают к Теодориху снова убеждать, доказывать необходимость взаимного восстания против общего врага. Теодорих стоит твердо, неуклонно от здравообдуманного своего решения. Наконец, Аэцию приходит счастливая мысль отправить к нему сенатора Мечелия, хитрого, искусного и счастливого политика, который пользовался приятною и величайшей доверенностью Теодориха. Мечелий жил уже на покое в роскошной своей вилле Азатикум, в горах Арвернии, устроив на берегу одного озера великолепную теплицу. «Готы, — говорил ему Аэций, — смотрят на все твоими глазами,

слышат твоими ушами. В 439 году ты указал им мир, теперь укажи войну».

Мечелий был друг Теодориха.

Опасаясь за себя и за свою роскошную виллу, которая лежала на пути Аттилы, Мечелий уговорил Теодориха соединиться с римскими войсками против Аттилы.

Знавший хорошо расправу гуннов с его предками, Теодорих хотя и согласился на предложение своего друга, но неохотно.

Все это было известно Аттиле и произвело на его избалованную успехами гордость неприятное впечатление. Лицо семидесяти-восьмилетнего царя омрачалось, но вместе с тем, по всеобщему сочувствию, омрачалась и вся западная Европа. Все точили оружие и чувляли неотразимую грозу. Аттила не прощал обид своей гордости.

И вот — по мановению грозного царя — весь Восток немедленно выставил под его знамена лучший цвет своего юношества.

Под знамена Аттилы собралось более 500 000 войска.

Поход Аттилы был подобен новому переселению народов, как говорят современники.

Аттила сам предводительствовал своими непобедимыми войсками.

В числе многочисленных дружин подвластных ему народов, составлявших крылья рати, особенно были замечательны дружины Велемира, Тодомира и Видимора и бесчисленные рати Гепидов, под начальством Ардарика. По словам Иорнанда, из всех подвластных князей Аттила больше всех предпочитал Велемира и Ардарика. Велемира за ненарушимую преданность, Ардарика — за верность и ум. Толпа иных князей и воевод различных народов, по его же словам, следили, подобно спутникам светила, за малейшими движениями Аттилы и по знаку, поданному взглядом, приближались к нему со страхом и трепетом; получив же приказание, торопились исполнить его.

Седьмого апреля, в день Светлого Воскресения, 451 года войска Аттилы переправились несколькими путями через Рейн.

Аттила, как опытный полководец, не забыл, однако, для прикрытия тыла походной армии оставить в Малой Валахии и Паннонии сторожевые дружины.

Взяв приступом знаменитые города Равраций, Виндониссу и Аргентоварию, Аттила до основания разорил их. Потом он взял Страсбург, Спейер, Вормс, Майнц, Тул, Диез. Седьмого же апреля при переправе через Рейн он взял Мец, где было много побито жителей. Далее взяты были приступом Тангр, Реймс, Аррас, Трив, и все области между Рейном, Мозелем, Марною и Сеною вдруг покрылись полчищами Аттилы, для которых не существовало никаких преград, крепостей, войск.

Один из храбрейших князей соединенных сил империй, Мировой, только что после смерти Клодовая завладевший Галлской Вандалией, стойко защищаясь против Аттилы, нигде, однако, не мог устоять и должен был с берегов Рейна бежать к союзникам.

Переправившись через Рейн, Аттила направил свои военные действия на северо-западную часть Галлии, к реке Лоаре.

Миновав Париж, тогда еще крошечный городишко, Аттила двинул одну часть своего войска на Орлеан, тогда столичный город.

Сильные укрепления города пали, и Аттила наполнил их своими воинами.

В это время, соединившись, союзники решились действовать наступательно, и Орлеан был взят обратно. Жители Орлеана, отворив тайно городские ворота, впустили передовой корпус союзников, и он хотя с трудом, но вытеснил оттуда войска Атиллы.

По словам Григория Туровского, битва началась подле моста и в городе. Гонимые, продолжает он, из улицы в улицу и поражаемые камнями из окон домов, гунны не знали, что делать, и отступили.

Это было 14 июня 451 года.

Между тем обе стороны, соединяя свои легионы в одну массу, предвидели необходимость полной и решительной битвы.

Наконец Аэций решился дать генеральное сражение, и обе стороны сблизились на полях близ талона на Марне, на так называемых Маурицких, или Каталаунских, равнинах.

Где находились поля Мауриции, или Каталаунии, на которых восток и запад сосредоточили свои армии, состоявшие более чем из миллиона воинов, наверное неизвестно. Странно, как все историки запада упустили

это из виду. Тем более это странно, что все они знали, как Аттила провел ночь перед битвой, а не могли указать, где, собственно, происходила столь чудовищная в истории человечества резня.

По словам Тьерри, который из Аттилы силится сделать Монгола, Аттила, во-первых, всю ночь перед битвой провел в страшном, невыразимом беспокойстве и волнении духа; во-вторых, гадал у какого-то пустынного и, не довольствуясь его предсказаниями, где-то добыл шамана, заставил его вызывать с того света души покойников и, сидя в глубине своего шатра, следил глазами за его безумным круженьем и вслушивался в его взвизгиванья. Не удовлетворившись вызовом теней, Аттила начал разлагать внутренности животных и рассматривать кости баранов. Кости предвещали ему не победу, а отступление.

Далее Аттила обратился к своим придворным жрецам. Жрецы порадовали его несколько, объявив, что, по всем знамениям, хотя победа будет не на стороне гуннов, но зато неприятельский вождь погибнет в битве. Словом, Аттила исполнил все в угоду своему ис-

торику, чтобы походить на дикого Монгола.

На самом же деле Аттила, вполне уверенный в своих силах, провел ночь перед битвой так же, как он проводил таковые и перед другими битвами.

Окруженный своими храбрыми любимцами, спокойно и сознательно Аттила распределял, кто и где должен стоять, как и что должен делать, кого и когда должен слушать.

Наутро же перед сражением Аттила сказал любимцам своим сильную и выразительную речь, в которой, упомянув о трусости римлян, напоминал своим воям, что он должен уничтожить готов, и уничтожить потому, что готы древнейшие враги славян и много им зла сделали. Обещался также наказать и римлян, которые вздумали поддерживать их.

Затем Аттила распределил войска.

Правое крыло он препоручил Ардарику, левое — Велемиру. Сам же, со своими кыянами, он взялся командовать центром и стоять впереди.

Между союзниками, левым крылом, состоявшим из римских легионов, управлял сам Аэций. На правом фланге стоял Теодорих с ве-

зиготами. Бургунды же, франки, поморяне и алланы галлские помещены были под начальством воеводы Сангибана, в центре, с тою целью, чтоб верные фланги сторожили над неверным центром, потому что Сангибан и все полки его были в сильном подозрении. Сангибан подозревался в готовности изменить. Родственные восточным славянам, поморяне и аланы неохотно шли на битву против своих собратий.

Поморяне эти были венеды, покоренные еще во времена Цезаря и поселенные им на севере Галлии. Они несколько раз восставали против римского владычества, желая примкнуть к своим собратьям. В 445 году они с трудом были усмирены Аэцием.

Один историк сказал, что никогда еще Европа не видала таких громадных войск, готовящихся поразить друг друга, и никогда еще властолюбию одного человека не приносилось в жертву столько народов.

Битву начал сам Атила.

Впереди своих грозных дружин, сидя на коне, он первый бросил копье в неприятеля.

Увидев это, дружина крикнула:

— Царь начал! Пойдем за царем!

И эта дружина бросилась вперед, пробила центр неприятельской армии, отрезала везиготов от римлян и надела на них...

Битва продолжалась непрерывно целый день до глубокой ночи...

История не оставила подробностей этой ужасной и чудовищной битвы миллионной армии. Она только говорит, что на каталаунских полях легло более трехсот тысяч человек, не считая раненых. В числе погибших находился и везиготский король Теодорих. Носясь перед рядами своих войск для возбуждения их мужества, он упал с коня и был раздавлен своими же воинами. Сын его, Форисмонд, раненный в голову, тоже было упал с лошади, но был спасен своими приближенными. Сам Аэций чуть было не попался в плен. А необозримая равнина до того была загромождена трупами убитых и упитана кровью, что все воды равнины превратились в кровавые потоки, издавали невероятное зловоние, и раненые, утолявшие жажду из этих потоков, немедленно же умирали. Так как битва продолжалась до глубокой ночи в

страшной темноте, то нередко озлобившиеся воины поражали стрелами, топорами и мечами своих же собратий... Ожесточение противников в Каталаунской битве было так велико, что, по народному поверью, души убитых еще три дня сражались в воздухе...

И в самом деле, это была самая ужасная и самая чудовищная битва из всех битв, происходивших когда-либо на земле.

И это был день 14 июня 451 года...

В полночь битва прекратилась. Союзники, собирая свою раздробленную армию, отступили, а Атиллы, угрожая неприятелю звуком оружия и завыванием труб, стал станом на самом поле битвы.[31]

Победа, по всем вероятностям, осталась на стороне Атиллы, хотя некоторые историки и стараются доказать противное или, по крайней мере, уверить в том, что сражение кончилось без победы с той или с другой стороны. Но последующие за Каталаунской битвой события явно свидетельствуют, кто остался победителем.

Желание Атиллы, двинувшегося в Галлию, состояло в том, чтобы разъединить союзни-

ков и потом поодиночке разбить их или заставить согласиться на те условия, которые он предложит.

Желание его как нельзя лучше увенчалось успехом.

Западный союз расстроился.

Наследник погибшего в Каталаунской битве везиготского короля Теодориха, Форисмонд, оставив римские легионы, стал более думать о наследстве, чем о продолжении бесполезной и пагубной для него войны. Он обратился с мирными условиями к Аттиле. С согласия Аттилы Форисмонд, имевший еще пять братьев, был провозглашен королем везиготов. За то он должен был подписать те мирные условия, какие предписаны были ему грозным победителем.

Мировой тоже согласился на требование Аттилы и от римлян перешел на сторону гуннов. Мировой после этого процарствовал спокойно еще десять лет. Потомки его, под именем Мировичей, или Меровингов, царствовали над Галлской Вандалией с 458 по 754 год.

Оставив поле Каталаунской битвы, лишенные двух и необходимейших союзников, Фо-

рисмонда и Мирового, римляне отступили к югу, к пределам Италии.

Аттила следовал по их пятам.

Дрогнул и римский двор и римский сенат.

Аэций шел во внутренность империи. Шел за ним и Аттила, и так быстро двигались войска его, что Риму никак не удавалось собрать новые силы.

Испуганный Валентиниан немедленно же отправил в Константинополь посольство с просьбой о скорейшей помощи.

Вследствие этой просьбы войска Византийской империи, стоявшие в Македонии, Фессалии, Албании, Сирмии, через Кроацию быстро поспешили для соединения с армиею Аэция в Крайне и около Милана. Но Аттила предупредил их. Он дал повеление своей дунайской армии занять Паннонию и действовать на Кроацию и Иллирик. Таким образом, византийские войска были удержаны. Другим легионам Аттила препоручил выгнать римлян из Адриатической Украины. Сам же он, на пути от Шалона на Марне, взял многие укрепленные города, а потом, перешагнув Альпы, вторгнулся в Италию, взял штурмом

укрепленный и знаменитый торговый город Аквилею, ограбил и разорил его и двинулся на Милан, второпрестольный град Римской империи.

Милан был взят.

Объезжая как-то улицы Милана, Аттила увидал выставленную карикатуру, на которой римские императоры представлены были на троне, а перед ними, на коленях, иноплеменные цари, высыпаящие из мешков золото к ногам императоров. Аттила улыбнулся, велел снять картину и перерисовать наоборот: себя на троне, а обоих императоров на коленях с золотом, высыпаемым к его ногам.

Здесь не мешает упомянуть еще о двух анекдотах, которые рисуют Аттилу не как варвара, а как умного и достойного человека.

Намереваясь обложить укрепленный город Троа, в Галлии, Аттила в сопровождении конницы лично отправился осмотреть укрепления. На одном из бастионов Аттила заметил человека, который показался ему не воином. Это был епископ города.

Подъехав поближе, Аттила спросил:

— Кто ты такой?

Епископ отвечал:

— Я слуга Божий.

А царь тотчас же подхватил:

— А я бич Божий, посланный для наказания злых слуг!

Епископ, склонив голову, отвечал:

— Твори же, как тебе велено, и накажи меня.

Этот ответ так понравился Аттиле, что он тотчас же велел оставить город с тем, чтобы горожане обещали услужить кое-чем проходящей его армии.

В одном из итальянских городов какой-то плохой поэт поднес Аттиле стихотворение, в котором величал его божеством. Аттила так рассердился на неуместную и глупую лесть поэта, что осудил его на сожжение. Когда же несчастного привели к роковому костру и уже поставили на него, Аттила крикнул:

— Отпустите его, чтобы, по крайней мере, не перепугать и хороших поэтов!

После Милана Аттила взял Конкордию, Алтин, Падуа, Веченицу, Верону, Бретию, Бергам, Павию. Словом, он отнял всю северную Италию и направился к Риму.

Валентиниан впал в совершенное уныние, когда ему донесли о приближении передовых неприятельских дружин.

Положено было защищаться до крайности: все двинулось для защиты столицы. Между тем Валентиниан отправил к Аттиле чрезвычайное посольство, состоявшее из бывшего консула империи Авиэна, бывшего правителя Африки Тригетия и папы римского Льва. Им приказано было не переговариваться с Аттилой, а умолять его о пощаде. Аттила принял чрезвычайных послов довольно благосклонно и согласился на перемирие. Тем не менее армия его подошла под самые стены Рима и расположилась в виду его лагерем. Валентиниан согласился на все требования победителя. И победитель, окруженный своими воеводами и конным отрядом из кыян, приблизился к воротам повелительницы мира. Ворота отворились, и из ворот, во всем облачении Христова Пастыря, вышел ему навстречу Лев, папа римский, в сопровождении всего римского духовенства и вместо ключей города поднес ему скипетр обладания миром, завитый в мирный, но постыдный для Рима дого-

вор.

Таким образом, Рим был наказан, а гордость Аттилы была вполне удовлетворена.

По мирному договору в руки Аттилы перешла большая часть восточных римских областей, а ежегодная дань золотом — много увеличена.

Возвращаясь в свою столицу, Киев, Аттила отправил к другу своему Гейзериху в Карфаген послов с известием о победе над везиготами и над Римом и просил его ввиду того, что он не участвовал в этой победе, в свою очередь, не забывать ни тех, ни других, а Рим при всяком удобном случае унижить или даже разорить до основания.

Гейзерих не забыл завета своего восточного великого друга.

Под конец жизни Валентиниана Гейзерих находился с ним в дружеских отношениях, и эти же дружественные отношения были предлогом, по которому он в 455 году, спустя три года после смерти Аттилы, ворвался в Рим и несколько дней опустошал его.

Случилось это таким образом.

Кто-то уверил Валентиниана, что Аэций

хочет утвердить на престол свою собственную фамилию. Император, кроме предательского убийства, не нашел лучшего средства избавиться от тягостной и ненавистной для него личности Аэция и собственноручно в 454 году убил его. В следующем же году и сам Валентиниан был убит одним из своих придворных, Максимом, жену которого он соблазнил. Убийца Максим был провозглашен императором, а вдова Валентиниана, Евдоксия, дочь Феодосия II и Евдокии, была принуждена вступить в брак с виновником смерти ее мужа. Желая отделаться от ненавистного ей мужа, она обратилась с просьбою о помощи к Гейзериху. Гейзерих не замедлил появиться в устьях Тибра. Объятые ужасом, римляне взбунтовались, и Максим после трехмесячного царствования был убит. В то время как к Риму приближался Гейзерих, Рим не имел ни императора, ни войска. К нему отправили посольство. Тот же папа Лев, который у ворот Рима вручил Аттиле скипетр властелина мира, стоял во главе этого посольства. Приняв посольство, Гейзерих обещал только при опустошении Рима не прибегать к огню и мечу.

Четырнадцать дней грабили вандалы Рим и перетащили на свои корабли не только все движимое имущество частных лиц, но и общественные сокровища: древние статуи, украшавшие улицы и площади Рима, вызолоченную кровлю Капитолия и даже священные сосуды из храмов. Большая часть этих драгоценностей, как говорят, потонула вместе с кораблями при переезде из Европы в Африку. Вместе с громадной добычей вандалы забрали в плен и множество знатных граждан, в надежде получить от их родственников большой выкуп. И сама Евдоксия, накликавшая на Рим вандалов, с своими дочерьми была уведена Гейзерихом в Африку.

Глава VI

ПОСЛЕДНИЙ ПИР

Возвратясь в Киев, скучая бездействием и неразлучными со старостью упадками сил, Аттила вспомнил рассказ Хари Мурина о необыкновенной красоте бактрианской царицы Ильдицы и тотчас же снарядил посольство к отцу ее с требованием, чтобы он выдал за него дочь свою Ильдицу.

Царь бактрианский Илий имел неблагоприятное решение отказать Аттиле.[32]

Аттила быстро снарядил войско и двинулся к берегам Каспийского моря.

Посылая, туда с войском Годичана, он приказал во что бы то ни стало, живую или мертвую, привезти Ильдицу и вместе с тем найти предлог ворваться в пределы Персии, с которой Аттиле давно уже хотелось повоевать.

Годичан не замедлил исполнить волю своего повелителя.

В несколько дней маленькая и незначительная область Бактра, или Бактриана, была уничтожена, красавица Ильдица взята, а Пер-

сия — поставлена в необходимость объявить Аттиле войну.

Началась война с Персией.

Оставив для борьбы с Персией опытных полководцев, Годичан поторопился с Ильдицей в Киев.

Вскоре красавица была им привезена в столицу и немедленно же представлена к царю.

Удовлетворенный царь с улыбкой удовольствия посмотрел на бактрианскую царевну, потрепал ее по смуглой щеке и приказал готовить свадебный пир.

Весь дворец поднялся на ноги и закипел приготовлениями к пиру.

Между тем Аттила уединился с привезенной Ильдицей в своей опочивальне и не сводил с нее своих старческих глаз.

Харя Мури, повествуя о красоте Ильдицы, не обманул царя.

Ильдица действительно была замечательная красавица: высокая, стройная, смуглая лицом, с большими синими очами и длинными, пушистыми ресницами, она, казалось, соединила в себе все то, что знойный юг имеет

и прекрасного и до забвения пленительного.

Все время Ильдица молчала, что в глазах Аттилы еще более придавало ей соблазнительной прелести.

Только иногда как-то странно, из-под бровей, она вскидывала очами на Аттилу и потом, как бы испугавшись вперенного на нее взора грозного царя, быстро опускала их в землю, и сидела такая же безмолвная, такая же недвижимая. В эти же моменты она судорожно вздрагивала, лицо ее покрывалось легкой бледностью, губы дрожали, ноздри слегка расширялись, а грудь волновалась, как река. Все это говорило, что Ильдица страшная, дикая натура.

Аттила это понимал, любовался ею и тоже молчал... Странные чувства волновали и его железную грудь...

Но наступил вечер, и Аттила отправился в пиршественную светлицу.

Вся светлица, по обыкновению, была наполнена любимцами царя.

Царь на пиру, сверх всякого ожидания, как бы необыкновенно развеселился: много пил, много ел, награждал всех и всякого почестя-

ми, золотом и шутил со всеми.

Никто и никогда не видал царя таким.

Все удивлялись этому и понемногу, подвыпив, начали даже говорить с царем несколько свободно, чего никогда не бывало.

Обоготворяемый десятки лет, неприступный, гордый, заносчивый, царь вдруг оказался всем таким же обыкновенным человеком, как и они.

А шут Харя Мурин развеселился больше всех.

Подвыпив крепкого вина и меду, он беспрерывно потешал всех своими шутками, мешая в шутках языки: славянский с латинским, греческий с готским, и наоборот.

Невзирая на то что Харя Мурин занимал при дворе Аттилы роль домашнего шута, он был одним из умнейших и даже, по своему времени, образованнейших людей Аттилова двора.

Харя Мурин несколько лет провел в Риме, Константинополе, Египте и, стало быть, немало вынес оттуда римской, эллинской и египетской премудрости.

Не довольствуясь незначительными шут-

ками, ему вдруг вздумалось потешить царя и гостей целым рассказом.

Подбежав к Аттиле, Харя Мурин низко ему поклонился и попросил позволения рассказать хотя невеселое, но занимательное повествование о черной смерти.

Царь, помолчав, проговорил:

— Рассказывай.

Харя Мурин начал рассказывать. Он рассказывал, как среди народа появилась черная смерть, как царь страны не верил появлению смерти, смеялся над нею, но черная смерть ворвалась во дворец, и царь умер в корчах один, потому что все, испугавшись смерти, покинули его. Повествование свое Мурин пересыпал шутками и прибаутками на счет недалёковидности царя.

По окончании повествования гости, по обыкновению, хотели наградить рассказчика криками одобрения, как Аттила быстро встал со своего седалища и обвел светлицу, унизанную гостями, своими мутными, но страшными взглядами.

Все, как один человек, тоже встали вслед за царем, и вся светлица, недавно столь шум-

ная, недавно столь веселая, как бы замерла под этими чарующими и непонятно чудовищными взглядами.

А грозный царь, обращаясь к близстоявшему Годичану, как-то глухо и хрипло проговорил:

— Годичан, принеси мне завтра утром голову шута. Я посмотрю, расскажет ли она мне новую сказку о биче...

Сказав это, Аттила неровными шагами направился к двери своей опочивальни...

Гости безмолвствовали...

В свою опочивальню с пира Аттила вошел в страшно возбужденном состоянии: лицо его, сильно осунувшееся, покрытое старческими морщинами, с густо нависшими бровями, с несколько распухшим носом, пылало как в огне; глаза горели и сильно выдвигались из орбит. Он дышал тяжело и порывисто. Входя в опочивальню, Аттила несколько пошатывался. Провожавшие его Годичан и Онигис хотели поддержать его, но он слегка оттолкнул их от себя, и они, поклонившись, скрылись за дверью.

В опочивальне уже сидела Ильдица.

Склонив голову и положив руки на колени под длинным белым покрывалом, она казалась сидячей статуей. Сидела она возле стола, на котором стояла огромная деревянная чаша фалернского вина с деревянной большой чарой и лежали гусли.

Любя игру и пение, Аттила сам нередко играл на гуслях песни своей родины, в которых воспевался широкий и быстрый Неман с его непроходимыми лесами, болотами и сурчинами...

Взглянув на безмолвно сидящую Ильдицу, Аттила грузно кинулся на свое грубое войлочное ложе.

Ильдица тихо спросила:

— Царь, ты спишь?

— Пой мне, Ильдица, песни, играй на гуслях. Под твою игру и песни я усну. Мне любят лепет младенцев.

Ильдица тихо заиграла на гуслях и тихо запела на непонятном для Аттилы языке. Она пела недолго. Аттила мгновенно заснул.

Пьяная голова его отбросилась назад, грудь открылась. Ильдица с отвращением взглянула на старика и прошептала:

— Царь!

Аттила молчал. Молчала долго и Ильдица, опустив голову. Наконец она встала и заглянула в лицо Аттилы, сморщенное, багровое, и низко наклонилась над ним, почти припала к его старческой груди... Послышалось хрипение, тяжелое, болезненное, смолкнувшее немедленно...

Начинался рассвет. Послышались звуки рогов...

Глава VII

ПОХОРОНЫ АТТИЛЫ

...Дверь тихо отворилась, и вошел Годичан, а за ним воин с кожаным мешком в руках.

— Царь, — тихо проговорил он, — вот голова неразумного раба твоего Хари Мурина.

Царь молчал...

— Спит? — обратился он к Ильдице, которая, опершись правой рукой о стол, стояла точно мраморное изваяние.

Ильдица молчала.

Годичан, постояв с минуту, осторожно по-

дошел к ложу царскому, заглянул в лицо царя и — шатнулся, как громом пораженный: царь его лежал недвижимый, бледный, с широко открытыми, безжизненными глазами, с кровавыми пятнами у рта и на шее...

— Помер! Помер! — воскликнул он дико и пал у безжизненного трупа своего властелина...

Через несколько мгновений опочивальня царя наполнилась придворными, а весь дворец огласился необыкновенными плачем и рыданиями. Рыдали все: рыдали дети, рыдали жены, рыдали слуги и воины... все рыдали...

В тот же день и весь Киев знал о смерти своего любимого царя.

Вокруг дворца собралось множество народу, и не было конца вою и жалобам...

Одна Ильдица оставалась безмолвною и равнодушною зрительницею всего происходящего, и одна, в глубине души своей, радовалась смерти Атиллы, хотя знала, что со смертью царя и ее ожидает лютая смерть на могиле ужасного властелина...

* * *

В глухую ночь, заключив прах Атиллы в

три гроба: свинцовый, серебряный и золотой, верные воеводы его и сподвижники Годичан, Борич, Онигис, Ислав, сыновья Данчул и Гезерик понесли его на пустынный берег Днепра, где назначено было место для погребения.

За гробом вели жен Атилы: Иерку, Эскину и Ильдицу с толпой других девушек. Все они, вместе со множеством любимых слуг, собак, коней, лучшим любимцем покойного — орлом, были обречены на смерть у праха любившего их господина.

Приблизившись к месту погребения, у высокого ветвистого дуба, была вырыта глубокая могила.

Обрезав волосы и истерзав свое лицо и грудь острыми орудиями, Годичан, Борич, Онигис, Ислав, Данчул и Гезерик собственно-ручно опустили гроб в могилу.

Затем началось убиение жен, девиц, слуг и животных, и никто не миновал грозной участи: все были убиты и все были опущены в страшную могилу страшного царя...

Один только старый орел в тот самый момент, когда Онигис хотел шарахнуть его по пернатому горлу, сильно рванулся из рук

Онигиса, взмахнул своими поседевшими, но еще крепкими крыльями и скрылся в темноте глухой ночи...

Воеводы и сыновья Аттилы видели в этом хороший признак.

Оставляя могилу царя, никому не ведомую, кроме них, они говорили:

— Царь и по смерти велик... Дух его, в образе орла, и по смерти парит к беспредельным небесам...

Никто не знал могилы грозного царя, а сами хоронившие — старались позабыть ее и вскоре позабыли...

Но не позабыл ее любимец Аттилы — орел.

Через несколько лет, когда уже могучее царство Аттилы распалось, раздробилось и новые люди, и новые цари новым потоком набежали на берега Борисфена, взмутили его воды, помяли траву его берегов, — орел, поседевший и почти уже ослепший, прилетел на дорогу для него могилу, могилу, густо заросшую травой, могилу ужасную, неведомую, и умер на ней...

Это был последний друг Аттилы...

Заключение

Аттила умер в 453 году на восемьдесят первом году своей жизни.

По расчетам же хронологии, основанным на сообщенном Иорданом сновидении императора Марциана, Аттила умер в 454 году от лопнувшей жилы именно в ту ночь, когда Марциану снилось, будто лопнула тетива у лука Аттилы.

Что же случилось с огромным царством Аттилы по его смерти?

Нет сомнения, что Данчул, как старший сын Аттилы, наследовал власть отца. Но по разделу, предоставив Киев среднему своему брату, Гезерику, перенес столицу в свою любимую Беловежу, где он княжил еще при отце, управляя козарами, которые тоже принадлежали к славянскому племени.[33] Младший сын Аттилы, Ирнак, получил в удел земли по правую сторону Днепра.

После Каталаунской битвы и покорности Рима история уже молчит об Аттиле. Следовательно, дарованный им мир был прочен и договоры свято исполнялись до 467 года.

В этом же году сыновья Аттилы отправили посольство в Царьград с требованием возобновления торговых договоров. Но император Леон, пользуясь войной кыян с персами, как отводом главных их сил, смело отказал на все требования кыянского посольства.

Отказ сейчас же вызвал войну.

Младший и любимый сын Аттилы, Ирнак, советовал Данчулу не начинать войны с византийцами, когда все силы их находятся в Армении, воюя с Персией. Но опрометчивый Данчул не принял советов брата. Ирнак рассердился на него и ушел с большею частью своего племени в глубину нынешней России. А Данчул со своей немногочисленной дружиной отправился за Дунай и, надеясь на верность подвластных ему готов, образовал из них главные свои силы и успел проникнуть в недра Фракии, где и вступил с войсками Леона в бой. Но готы ему изменили, и Данчул принужден был постыдно отступить... Война с Персией была также неудачна: персы разбили войска Данчула и союзников, преследовали их за горы, проникли в Козарию и даже овладели Беловежею...

И вот для великого царства славянского, созданного дальновидным Атилой, наступил какой-то странный период: в течение четырехсот двенадцати лет о нем ни слуху ни духу, как будто его и не существовало.

Что же с ним случилось?

А вероятнее всего, что великое царство гуннов, — здесь разумеется территория нынешней России, — распалось на множество мелких княжеств, которые, может быть, вели между собой постоянную и упорную междоусобную войну, чем и помрачили четырехсотлетнюю эпоху славянской жизни, канувшую бесследно в вечность, но не уничтожившую, однако, раз навсегда установленную могучей рукой Атилы великую славянскую общину.

Славянская община в течение этих четырехсот двенадцати лет скрывается под общим именем скифов и сармат. В IX же веке она снова выступает на сцену под именем руссов и громко заявляет о себе своими нападениями на соседей. В это же время начинается и сознательное объединение славян, и об славянах снова начинают говорить и византийские и арабские историки вследствие появле-

ния их в 865 году у самых стен Константинополя и большого похода на Каспийское море.

Вот почему русская история и начинается собственно со второй половины IX века; вот почему появляется и летописная легенда о признании князей, как цель объяснить происхождение Русского государства и связать его с появлением народа Русь в византийских хрониках. Легенда эта есть не более как попытка осмыслить непонятное явление, так как о действительном происхождении Руси память народная не могла сохранить никаких воспоминаний. Надо заметить еще и то, что в том виде, в каком легенда дошла до нас, она внесена в летописный свод приблизительно во второй половине XII или в первой XIII века, то есть около татарской эпохи, потому что все памятники древней русской письменности, несомненно принадлежащей дотатарской эпохе, ничего не знают ни о призвании варяжских князей, ни о завоевании Руси норманнами.[34] Вероятнее всего, что легенда эта принадлежит Новгородской редакции и в настоящем своем виде может служить отголоском бывшего когда-то соперничества меж-

ду Новгородом и Киевом, так как Новгород долгое время находился в подчиненных отношениях к Киеву, но всегда стремился к самостоятельности. В дотатарскую эпоху новгородец не называл даже себя русином, а продолжал именоваться словенином.

Где же в таком случае следует искать начала Руси? Не на юге ли? На юге, говорят противники норманнской системы, и производят Рось, Русь, Россия, один — от парсов, выходцев из Индукуша в Бактрию, а потом, разбредаясь, поселившихся отчасти и на южных окраинах нынешней России; другие — производят Русь от славянского племени роксолан, о которых, под именем ахтырцев, уже упоминалось на страницах настоящего повествования; третьи, наконец, указывают на названия рек, озер, урочищ, носивших подобные наименования вместе с селившимися на них славянскими племенами.

Но как бы там ни было, откуда бы ни произошло слово Русь — а община Русь, под разными наименованиями, существовала далеко до мнимого призвания варягов, и России в 1862 году следовало бы праздновать не тыся-

чу лет своего существования, а, по крайней мере, тысячу пятьсот, если не более...

«Земля наша велика и обильна», — говорили послы славянские, — если допустить призвание варягов, — и это как нельзя лучше доказывает о существовании славянской общины или союза далеко до 862 года.

Скажут: община, братовщина не государство.

Так.

Но почему же финикийские, греческие и римские братовщины заслуживали названия самостоятельных государств до избрания ими верховных владык, а славянские — нет?..

Кажется, в этом отношении должны быть равные права, тем более что славянские общины были не какой-нибудь сброд, а имели большие и торговые города. В 866 году славяне имели более 148 городов.

Не могли же все эти города управляться кое-как и несомненно имели свои учреждения, свои власти. А если были учреждения, то, стало быть, было и государство, хотя и не в том виде, как у нас теперь принято его понимать. А если это так, то зачем же государ-

ственную жизнь славян считать с какого-то легендарного призвания варягов. Да если бы они даже и были призваны, то из этого вовсе не следует, что Русское государство основано только именно в этом году.

Возьмем для примера римлян.

Почему, например, римляне не ведут свое летосчисление с Августа, первого их верховного владыки, а ведут его с Ромула.

Неужели у славян не было и не могло быть своего Ромула, ни истинного, ни баснословного?

По нашему мнению, был.

И был именно истинный Ромул, а не баснословный.

И этот Ромул славянский не кто иной, как Аттила.

Но не тот Аттила, которого западные, враждебные славянству историки провозгласили варваром, монголом, дикарем, а тот гениальный и славянский Аттила, который стремился к объединению своего народа, который первый положил основание Славянской общине и перед которым впервые, как перед царем славянским, дрогнула вся запад-

ная Европа, увидя в нем грозное проявление грозной славянской силы, и, трепеща, назвала его бичом Божиим.

О ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА КОНДРАТЬЕВА

В прошлом веке среди прекраснодушных и возвышенных русских историков существовало целое направление, видевшее едва ли не главный смысл деятельности в абсолютном возвеличивании своей нации. Одним из средств для того было возведение собственно славянской истории к глубокой древности, откуда отбирались исключительно нужные, комплиментарные для национального самосознания факты. Одним из основоположников направления в исторической науке считается Ю. И. Венелин (1802–1839). Вслед за ним с разнообразными работами выступили писатель А. Ф. Вельтман, известный русский историк Д. И. Иловайский... Если патристическое возвеличивание прошлого при некоторых отступлениях от фактической стороны событий для историков оказывалось подчас чреватым, то писатели в этом отношении чувствовали себя свободнее, даже если речь идет об авторах сугубо исторических

произведений.

В значительной степени это может быть отнесено к талантливому историческому романисту Ивану Кузьмичу Кондратьеву. Сегодня мало кто знаком с его творчеством, тогда как его проза по своим живописным, т. е. художественным достоинствам представляет значительный интерес. Правда, наши рассуждения оставляют за скобками одно немало-важное обстоятельство. Мы пользуемся устоявшейся и отстоявшейся за прошедшее столетие литературной шкалой и мысленно делаем в наших оценках поправку на тогдашнее окружение автора. Его основные произведения были написаны, условно говоря, в период от гончаровского «Обрыва», «Бесов» Достоевского, некрасовских «Русских женщин» и до совершенно иной литературной эпохи — до появления «Золота в лазури» Андрея Белого, бунинского «Чернозема», купринского «Поединка». Современниками Кондратьева оказались многие выдающиеся русские писатели, произведения которых заняли свои места на золотой полке отечественной классики. И если судить о его книгах по высшему разря-

ду — тогда не о чем, собственно, и говорить. Но если согласиться с тезисом (сравнительно очевидным), что кроме классиков отечественная словесная школа насчитывает целый ряд добротных и весьма интересных сегодня писателей, Кондратьев заслуживает включения в их число.

Названия многих книг Кондратьева отличаются несколько архаичной выразительностью. Например «Великий разгром. Исторический роман из эпохи кровавых драм и великих смятений»; или «Фабричный чорт, или Сила чортовой водки. Из приключений одного фабричного молодца». Вот еще название: «Салтычиха. Историческая повесть. Из уголовных хроник XVIII века». Или такое: «Солдат Клим Пулька, или Нашему ефрейтору сам черт не брат. Русская волшебная сказка в лицах с песнями, плясками, превращениями, с угощениями и со всякой крупной и мелкой чертовщиной». (Любопытно, что кроме гоголевского «чорта» ему был известен и значительно более обиходный «черт» — отсюда и вариативность орфографии.) Вышеперечисленные книги, как, впрочем, и фамилия их

автора сегодня знакомы разве что специалистам да некоторым любителям исторической прозы.

Иван Кондратьев занимался литературным творчеством на протяжении тридцати пяти лет. Его перу принадлежит несколько романов (часть которых автор назвал повестями, что не совсем адекватно, если говорить о жанровой принадлежности), кроме того, переводил европейских поэтов, сочинял пьесы, рассказы, написал множество стихотворений, частично опубликованных в библиотеке журнала «Мирской толк». Читатели, детские годы которых пришлись на последнюю четверть XIX века, могли познакомиться с его сказками, или получить в подарок его книгу для начального чтения «Искра Божия», или даже могли играть в придуманное Кондратьевым «Лото племен и народов». Составил он также и описание детских игр, снабдив свои объяснения, где считал необходимым, чертежами и рисунками; книга этих описаний появилась не без влияния соответствующей главы из «Гаргантюа», но если Франсуа Рабле лишь перечислил сотню игр,

забавлявших героя, то наш автор предпринял немалый труд, чтобы подробнейшим образом разъяснить правила, да и количество игр оказалось у него значительно большим — несколько сотен. А ведь еще он составил «Толковый и справочный библейский словарик», сделал подробнейший реестр достопримечательностей Московского Кремля, написал популярную биографию Пушкина, собрал и выпустил отдельными изданиями малороссийские песни, русские песни. Словом, количество опубликованных книг исчисляется десятками. Однако в то же время писателя Кондратьева даже с изрядным допущением нельзя причислить к категории известных, или некогда известных, или хотя бы популярных. Литературная судьба сложилась таким образом, что лучшие его книги оказались практически вовсе непрочитанными. Более того, неизвестность автора многих исторических романов оказалась таковой, что И. Кондратьев не удостоился даже элементарного упоминания в большинстве справочных изданий.

Так, ни слова о нем и его творчестве не

отыщем мы у С. Н. Южакова и в словаре «Гранат», а известный и наиболее авторитетный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, содержащий статью о Кондратьеве-певце и даже уделивший семь строк Кондратьеву-врачу, не обмолвился об Иване Кузьмиче Кондратьеве ни единым словом. Этот факт тем более примечателен, что соответствующий том «Брокгауза и Ефрона» вышел через год после смерти писателя. Стало бы, для широкого круга современников вся его жизнь и творчество прошли настолько незаметно? С определенными оговорками следует признать: пожалуй, что так. (Ну а раз уж современники не оказали достаточного внимания, неудивительно, что и последующие энциклопедии советского периода, в том числе Литературная энциклопедия под ответственной редактурой Луначарского, слыхом не слыхивали об историческом романисте И. К. Кондратьеве.)

А между тем литературное дело знал он хорошо, доказал это в лучших своих произведениях и при несколько ином повороте событий оказался бы, пожалуй, в ряду с Н. Гейнце

и Г. Данилевским, Вс. Соловьевым и Н. Полевым, Е. Салиас-де-Турнемиром, Е. Карновичем и Вас. Немировичем-Данченко — писателями, создавшими известные исторические романы и повести. Не только профессионального умения, но и овеществленного мастерства — написанных исторических романов и повестей — для того хватило бы, по нашему мнению, с лихвой.

Среди авторитетных изданий справочного типа о Кондратьеве некоторые сведения содержит лишь многотомный «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», подготовленный С. А. Венгеровым. Но и там информация о нашем авторе весьма скудна. И ведь подобное мнение современников не спишешь на чрезмерный субъективизм оценочных критериев. Как минимум в ситуации следует разобраться, поскольку невнимание (по преимуществу отношение было именно таковым, с несколькими исключениями) к творчеству И. Кондратьева, писателя весьма профессионального, представляет не только курьезное, но до некоторой степени и симптоматичное явление.

Итак, имеет смысл разобраться в причинах ситуации, когда серьезный прозаик, периодически поставляющий на книжный рынок литературные произведения, оказался практически неизвестен современникам и последующим поколениям русских читателей. Отчего автор романа «Бич Божий», повестей «Бесовы огни», «Над могильной плитой» даже в малой степени не получил признания, доставившегося, скажем, К. Баранцевичу, И. Потапенко, П. Боборыкину?

Печататься И. Кондратьев начал с конца 60-х годов XIX века. В 1869 году он выступил с незатейливой и рассчитанной на весьма непритязательного читателя пьесой «Волостной писарь, или Где хвост начало, там голова мочало». Литературный дебют оказался характерен в том, что касалось выбора жанра. Бесхитростный лубок, для чтения и постановки которого не требуется большой подготовки, с самого начала писательской деятельности прочно войдет в профессиональный оборот Кондратьева. Подобных лубочных картин в прозе и стихах на самые разнообразные те-

мы, в том числе исторические, за всю его жизнь будет написано немало. Едва ли правомерно говорить об этом направлении в творчестве И. Кондратьева как о чем-то случайном, «для заработка», как иногда формулируют, пытаясь задним числом оправдать того или иного литератора. Все подобные «шутки», пьески, сцены, как бы ни называл их сам автор, создавались под сильным впечатлением даже не столько юмористических рассказов (Лейкина и коллег), как именно успеха таковых рассказов у читателя. И пишутся одна за другой «шутки». Кондратьев выбирает занимательный сюжет, — и вот уже принимается забавлять публику незадачливый купец из провинции, сдуру давший в долг московскому прощельге крупную сумму, или накануне своей женитьбы Пушкин с Языковым заваливаются в ресторан, к цыганам... Не обошлось дело при создании лубков и без Стеньки Разина, который сначала философствует и выпивает, а затем топит персидскую княжну в Волге — на радость своим казакам.

Многочисленные литературные поделки, написанные вполне мастеровито, с юмори-

стическими вкраплениями и выдержанными по всему объему произведений характерами (не беда, что характеры эти придуманы, выписаны, разработаны были уже до Кондратьева другими литераторами) идут чередой по всей творческой биографии писателя. Был, без сомнения был спрос на подобные лубки, — причем с их изготовлением Кондратьев справлялся успешно. Но они же создавали и репутацию.

На протяжении многих лет Кондратьев писал также и стихи. В поэзии, тут следует отдать должное, он показал себя умелым версификатором, что для профессионального литератора является качеством необходимым. Иное дело, что помимо версификаторских способностей Кондратьев не привнес практически ничего своего. И здесь вторичность оказывалась наиболее характерной, доминирующей чертой. Подпавший под обаяние поэзии Некрасова и Никитина, он главный упор в поэтических экзерсисах делал на то самое «рыданьице в голосе», о котором в «Даре» рассуждает Годунов-Чердынцев. Поочередно смешив-

вая «тоску», «певца», «долю» и добавляя глагольные рифмы, он мог повествовать практически на любую тему: всюду найдется место и для волн, которые многозначительно набегают на камни, и для завывающего зимнего ветра. Жизнь в его стихотворениях оказывается безрадостной, свет — печальным, однако при всем том строки крепко сбиты рифмами. «Бушует море, волны скачут, отлогий берег бороздят, в ущельях горных вьюги плачут, дубравы хмурые гудят; шумят, с гулливым ветром споря, потоки снега и дождей... То песни вьюг, то песни моря, то песни родины моей!» — восклицал Кондратьев, и библиотека журнала «Мирской толк» предоставляла для его произведений свои страницы. Эта поэзия практически не находила откликов в печати. Исключение составил единственный, насколько нам удалось установить, случай. Когда в составленную им книгу для детского чтения «Искра Божия» (1887) он поместил наряду с классическими произведениями также и несколько своих стихотворений, возмущенный критик respectable «Русской мысли» не выдержал: «...Высокопарные и наив-

ные стишки г. Кондратьева, который не постеснялся поместить в свою хрестоматию и собственную особу рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Крыловым и др.» («Русская мысль», книга IX, 1898).

Для Кондратьева в переходе к исторической романистике сказался не только личный интерес, хотя без буквальной заинтересованности в истории как предмете исследования его романы едва ли могли бы состояться. В переключении на новый жанр обозначилось характерное для автора XIX века стремление быть буквально полезным своей работой, чтобы итоговое удовлетворение как результат чтения подчинялось учительской, в широком понимании, функции художественной литературы. Исходя из карамзинских тезисов о необходимости изучения прошлого, Кондратьев пришел к выводу о том, что «самая лучшая форма, которая может знакомить большинство с историей родины — это форма исторического романа, романа, разумеется, добросовестного как относительно исторических фактов, так и относительно домашнего быта народа описываемой эпохи».

Свой первый исторический роман «Гунны» Иван Кондратьев опубликовал в 1878 году. У него получилась книга, в значительной степени перегруженная рассуждениями исторического характера, не лишенная и иных недостатков. Однако на фоне раннего творчества теперь возникло не просто произведение большего объема. Литературный уровень «Гуннов» отличался от ранее написанного до такой степени, как если бы роман принадлежал перу совершенно другого автора. То был в литературном отношении прорыв на новый уровень.

Предпосылая первому изданию «Гуннов» авторское вступление, он пытался заранее объяснить с читателями. «Если повествование мое, — писал он, — попадет в руки интересующихся историей своей родины, мне думается, что они прочтут его если не с удовольствием, то по крайней мере с любопытством; если же попадет в руки иных читателей, прошу их не утруждать себя чтением и отложить роман в сторону. Всякому свое». Как видим, мысль автора изложена достаточно категорично и внятно. В качестве концептуальной

основы Кондратьев избрал теорию славянства гуннов, ранее предложенную И. Ю. Венелиным и впоследствии поддержанную Д. И. Иловайским. Хотя среди историков теория была встречена серьезными возражениями, писателю Кондратьеву она подходила вполне. С ее помощью он создает гармоническую картину духовного единения Правителя и его соплеменников, приводящего к многократному умножению динамичных устремлений народа. Как ранее Венелина, так после выхода «Гуннов» Ивана Кондратьева упрекали в попытках зачислить гуннов в предки славян. Однако писатель ведь ставил перед собой (и разрешил весьма успешно) совсем иную задачу — именно художественного порядка. В соответствии с современным ему представлением о литературе он — разумеется, в меру сил и таланта — живописует избранный материал, стремясь к тому, чтобы из текста, из буквального типографского шрифта появлялась живая, как бы настоящая, трехмерная картина. Можно сказать, что для последних десятилетий XIX века Кондратьев представлял собой в определенном смысле писате-

ля-ортодокса, приверженца гегелевской философской эстетики в том, что касалось художественного творчества (цель — гармония, идеал — красота). Выбираемые для показа сцены романов подаются выпукло, колоритно, красиво — вне зависимости от характера изображаемой ситуации. А ведь современная читательская аудитория как раз и хотела, чтобы в книге все было «правдой», как в жизни. Тут проявилось не одно только понимание литературной конъюнктуры, но и вполне рациональный, профессиональный подход к творчеству: писать, чтобы читали (как нередко говорил Диккенс, профессионал высочайшей пробы).

Но даже и в первом варианте роман некоторыми критиками был прочитан и понят, как нам представляется, вполне адекватно исполнению: был признан, во-первых, серьезным и, во-вторых, безоговорочно добротным художественным произведением. Литературный критик журнала «Дело» заявлял: «Прошедшее вновь восстает перед нами во всем блеске своего величия». То есть имелось в виду воссоздание Кондратьевым живого и само-

стоятельного мира, — что является первой и наиболее существенной задачей всякого художественного произведения. В приводимой рецензии критик высказывает несколько лестных замечаний в адрес автора и добавляет: «Картины превосходны, а блестящий, образный, энергичный язык автора — верх совершенства и в этом отношении у него только один достойный соперник — Виктор Гюго». Позиция критика, таким образом, высказана хоть и с большой долей субъективизма, однако сформулирована четко и — что важно для нас — аргументированно: оценочной стороне предпосланы эстетические критерии. Если учитывать, что вся современная Кондратьеву литература, разнясь по многим положениям, сходилась в стремлении создавать на страницах настоящую и даже более объемную, чем настоящая, жизнь (открыл роман — видишь живые картины, как за окном), то мы готовы согласиться с оценкой критика.

Через десять лет после «Гуннов» выходят роман «Церковная крамольница» и большая повесть «Великий разгром» (последняя вышла еще дважды под названиями «Драма на

Лубянке» и «Казнь Верещагина, или Москвичи в 1812 году»). Сравнительно выраженный успех пришелся разве что на долю исторической повести «Салтычиха», выдержавшей пять изданий. В 1897–1899 годах были напечатаны его романы «Трифон-сокольник» и «Лютая година».

Исторический романист (мы намеренно выделяем эту составляющую писателя, считая ее в данном случае определяющей) Иван Кондратьев наименее свободно чувствовал себя там, где речь заходила о событиях, так или иначе нашедших отражение у других авторов, профессиональных историков. Чем более подробно оказывался изучен какой-либо исторический эпизод, тем бледнее представлял он в его книгах. Автор как бы оказывался в поле информационного притяжения (психологии творчества известен подобный феномен) и, чувствуя себя не в силах вырваться, заметно выхолащивал собственное на ту же тему описание, — чтобы не перехватить, не воспользоваться плодами чужого труда. И лишь в случаях, когда источник и исследователь принимались невыразительно буб-

нить — приходил час писателя Кондратьева. Показательна в этом отношении включенная в настоящий том повесть «Божье знаменье», посвященная войне 1812 года. Принципиальное значение имел тот факт, что непосредственным ее литературным предшественником был роман Толстого. Кроме того, к концу XIX века уже имелась значительная историческая и мемуарная литература о военных событиях. Нарботанный другими авторами материал явно давил Кондратьева, которому приходится в данном случае накладывать на исторические описания мелодраматическую фабулу, чтобы внести в повествование собственный авторский оттенок, хоть в какой-то степени попытаться повернуть сравнительно известный сюжет.

Но выходявшие из-под пера повести и романы оставались практически безответными. Над исторической романистикой Ивана Кузьмича Кондратьева, как в сказке Андерсена, довлела тень непритязательного изготовителя литературного ширпотреба, — и выбраться из-под нее писателю до самой смерти (1904) так и не удалось. Тем более, что книжные

полки непрестанно продолжали пополняться за счет его неприхотливых пьес да сходной по качеству — одноразового прочтения — продукции.

В стихотворении «Дубрава», которое мы склонны рассматривать в первую голову как документ психологического состояния автора, не чуждого спонтанных фрейдистских признаний, Кондратьев, пользуясь привычным словом-символом «певец» (под которым частенько скрывал альтер-эго), написал: «Но кто же песнь мою поймет? Но кто же песнь мою полюбит?» В этих строках оказалось больше биографического, чем автору хотелось бы: он оставался непрочитанным, незамеченным прежде всего в том жанре, где писательский его талант раскрылся в наибольшей степени. Неприметность такого рода продолжалась и после ухода Кондратьева из жизни: еще некоторое время выходили отдельные его издания, но выходили по стечению случайных обстоятельств. Это была в одном случае довольно слабая повесть «Казнь Верещагина», в другом — объяснительная книжка для игры в «Лото племен и народов».

Уже при новом режиме Товарищество И. Д. Сытина выпустило в 1923 году одну книжку Кондратьева: то были детские стихи про Степку-растрепку. Таков оказался финальный аккорд в полувековой истории публикаций Ивана Кондратьева. Для современного читателя знакомство с его произведениями, по существу, начинается с *tabula rasa* — чистого листа.

К. Новиков

Примечания

Лола — название богини любви и счастья. Лола превратилась впоследствии у славян в Лад, может быть, от слова — лад, ладить, в ладу, т. е. приятное сообщество. — *Здесь и далее примечания и комментарии автора.*

[^^^]

2

То есть принявший бессмертие.

[^^^]

В Новгородской губернии и по настоящее время прибрежные жители озера Ильменя носят название «позёров».

[^^^]

Балтийское.

[^^^]

Между Гиеразом и Дунаем, вдоль границ тайфанов, высокий вал.- Следы этого вала, оконченного Атанариком, которого называют судьей древлян, существуют и по настоящее время под г. Галацом, между Дунаем и Прутом. Вал этот, означенный на карте Бауера, идет от села Долошешти в вершине озера, до Сербанешти, при р. Серети, на протяжении 35 верст, отрезая таким образом угол при впадении р. Прут в Дунай.

[^^^]

Напор обручников. — Обручи эти, находимые во множестве в могилах на всем пространстве населения славян по Европе, были знаком обета. Они без исключения свивались из трех проволок в виде змеи и делались из плохого серебра, похожего на железо, почему их и называли железными. Можно полагать, что в состав, из которого делались обручи, входила некоторая часть золота, большая часть серебра и часть какого-либо темного соединяющего металла.

[^^^]

Отлично скакал на лошади. — В среде тогдашних северных народов было обычным делом, что десятилетние дети умели владеть оружием и скакать на лошади. Нередко случалось, что такие храбрецы участвовали даже в битвах. Все это подтверждается множеством северных сказаний.

[^^^]

Венеды, обычным углом построения пехотинцев... — Ставили углом пехотинцев, которые, надо заметить, играли в войнах славян очень важную роль, — для того, чтобы, быстро развернувшись, с большим удобством напасть на неприятеля, причем отступать с места с тем, чтобы снова внезапно наступать, почитали славяне военной хитростью, но не трусостью. Тела убитых, при сомнительности победы, относили назад. Конница, сражаясь, делала искусно заезд вправо или влево, стесняясь в кругу поворота, чтобы никто не отстал.

[^^^]

Славяне носят в истории около двадцати названий... — Со 150 года до Р. Х. имя скифов исчезло в истории. Но каким образом оно исчезло? Истребились ли все скифы или переселились куда в Азию? Этот вопрос кидался в глаза, а потому возникли толковники: одни говорили, что сарматы истребили скифов, другие объявили, что они выселились. Истребить народ, живший, по Фукидиду, на пространстве 16 000 000 кв. стадий, или 640 000 кв. верст, — дело невозможное. Переселение же куда-нибудь такого народа составило бы в истории целую эпоху. Но никто о такой эпохе не говорит. Все это объясняется тем, что народ остался на том же месте, но явился под новым именем — сарматов.

[^^^]

Славянский князь Гано, или Иано. — По хронологии Торфея, он вступил на престол в 222 г. по Р. Х.

[^^^]

Киев носит название *Киавы*, *Китавы* и *Куявы*. — Стриковский и некоторые другие писатели полагают, что Киев построен около 430 года, основываясь на двух-трех позднейших сказаниях византийцев. Татищев говорит, что Киев есть испорченное сарматское слово «киви», означающее камень и кору.

[^^^]

Между рекой Иртышом и Китаем. — По известиям, будто сохранившимся в китайской истории, народ гунны сперва назывался хуньюй, потом сяньюнь, потом гуйфан, а после хунну и гунну. В различные времена он носил прозвание сяньби, жужу, тулга, кидань, татань и, наконец, позже всего, монгол, от названия владетеля Мгул-хана, Хун-ну, или сунну, по-китайски значит «злой раб». В 15 году по Р. Х. китайский государь Ван-Ман через нарочное посольство предложил хунскому хану Шаньюй переменить название хун-ну на гунну, на что хан и согласился за богатые подарки. Гун-ну значит «почтительный раб». Где эти китайские летописи? И кто их читал? Уж подлинно китайская грамота.

[^^^]

Задунайские варвары. — «Варвар» значит также, что славяне — не греки и не подчинялись эллинской премудрости.

[^^^]

Мыльня — баня, медуша — погреб, иначе —
лазня.

[^^^]

Начальный смысл этого слова от божества
предела — Маро.

[^^^]

Надо полагать: или при устье Моравы, или же при Кюстенджи.

[^^^]

Поднесение хлеба-соли с вином считалось у прежних славян, более даже чем теперь, знаком высокого уважения. Кому подносились эти знаки уважения, тот очень гордился ими.

[^^^]

В Берестове умер равноапостольный князь Владимир. На месте этого села находится ныне Печерский монастырь.

[^^^]

Это зодчество наследовала и Москва: дворец Коломенский был последним его образцом.

[^^^]

Где навсегда и утвердилась. — Венды живут там и по настоящее время, составляя странный контраст с окружающим их немецким элементом. Хотя они уже издавна приняли христианство, но много еще сохранили своих первобытных обычаев, поверий, суеверий и обрядов. Их там живет более 60 тысяч, а всех вообще славян вендского племени по всей Европе насчитывают до 900 тысяч. Название вендов производят от «вендол» — овраг, лог, низкое место, что значит «жители низких мест», и «вен» — вне, в смысле странствовать, переходить с места на место. По-польски странник — вендровец, и еще уда — венда.

[^^^]

То есть торжища в пограничных местах.

[^^^]

Сражение при Херсонесе... — Развалины Херсонеса находятся близ нынешнего Севастополя. Херсонес в переводе с греческого значит «почти-остров». Крымский полуостров носил название Херсонесского, Серпского и Босбора Киммерийского. Босбор — значит «бычачья дорога».

[^^^]

Лесов горичанских... — Громадные и непроходимые горичанские леса располагались на пространстве от Лейпцига до Дрездена.

[^^^]

Меч Арея, в северных мифах меч Сигурда, которым он поразил змея, жившего в скале.

[^^^]

Гунны переходили в христианство. — Блаженный Иероним писал: «Гунны изучают псалтирь; хладная Скифия согревается огнем веры истинной».

[^^^]

Римлянин Орест. — Впоследствии, в 474 году, Орест был римским полководцем. Не признав провозглашенного Гунибалом императора Глицерия, он присоединился сначала со своими войсками к войскам другого полководца, Юлия Непота, но потом отпал от него, изгнал Непота из Рима и поставил императором своего, еще очень юного сына Ромула Августула. Это был последний римский император. В 476 году полководец Одоакр ворвался с германскими войсками в Рим и без особенного труда победил Ореста и его сына. Орест был взят в плен и казнен, а сын его сослан в одно поместье в Компании. Одоакр провозгласил себя королем Италии. Через восемьдесят лет Римская империя окончательно распалась.

[^^^]

Тирская тога. — Тирский пурпур считался драгоценнейшим, так что фунт материи, окрашенной в нем, стоил больше тысячи динариев. Серебряный динарий стоил в позднейшие времена Римской республики несколько больше 20 копеек серебром.

[^^^]

Заводить в доме золотую и серебряную посуду. — В позднейшее время Владимир Красное Солнышко, услышав жалобу своих воинов, что, мол, едят они деревянными ложками, приказал выковать для них серебряные ложки, проговорив: «Будут воины — будет и серебро, а без воинов я серебра не добуду».

[^^^]

Вандалы занимали южную часть Испании, которая с тех пор получила название Вандалузии, а потом Андалузии.

[^^^]

Вандалы Галлии. — Римляне под предводительством Юлия Цезаря, вступив впервые на территорию нынешней Франции и не зная названия этой страны, назвали ее Галлией, т. е. Петушьёю строною.

[^^^]

Аттила... стал станом на самом поле битвы. — Историк Иорнанд, приписывая победу союзникам, говорит, что побежденный Аттила заперся в своем лагере, велел окружить его со всех сторон кибитками и сложить посредине огромный костер из седел, на котором он решил сгореть, если бы неприятели ворвались бы в лагерь. Объясняя победные клики гуннов желанием устрашить врагов, Иорнанд делает следующее сравнение: «Так лев, преследуемый охотниками до своего логовища, оборачивается, останавливает их и наводит на них ужас своим рыканием».

[^^^]

Имел неблагоразумие отказать Аттиле. — Область Бактра находилась между реками Курой и Араксом. Нынешние исчезающие губры (огнепоклонники), живущие в Персии и окрестностях Баку, есть потомки бактриан и вообще магов-халдеев, живших близ озера Гог.

[^^^]

Которые тоже принадлежали к славянскому племени. — По прологам в житии Св. Кирилла: «Козары бяше народ скифский, языка славянского или русского. Козаров имени память оста в малороссийском ныне «Канистве» крепком, подобно тому, зело мало премоенно именуемом» — Беловежа по Приску — Белополис.

[^^^]

О завоевании Руси норманнами. — Варяги не составляли ни особенного племени, ни даже разных племен, от одного народа происшедших. Варяги составляли касту, в которой могли участвовать все народы. Каста эта была чисто промышленная, и цель ее состояла в том, чтобы за известную плату во время плавания защищать купеческие суда от грабежей и нападений. Кроме этого, варяги и сами занимались торговлею. Само слово «варяг» происходит от старославянского слова «варю», т. е. разъезжаю. Таким образом, «варяг» — разъезжающий. И по настоящее время слово «варять» означает в Тамбовской губернии: заниматься разного торговлею. В Москве «варягами» называют торговцев-ходебщиков. Поговорка же «полно варяжничать» означает: «перестань выторговывать». Византийцы называли варягов «фарган», готы — «фарян». Немцы их называли «воарами». Когда появились варяги — неизвестно, но, должно думать, что во время силы и процветания Византии, когда торговля на севере была еще в руках

одних славян. Смотри по мере распространения торговли между скандинавскими государствами, явились и варяги датские, шведские и норвежские. Торговля английская образовала своих варягов, а беломорская породила варягов — готов, сидевших в северной Финляндии, и варягов — оурман, сидевших в заливе Белого моря, называвшегося в то время Урманским, а ныне Мурманским.

[^^^]